

В. ДРОЗДОВ Ю. КАПУСТО



ВОЙНА
НА
ХУТОРАХ

ИЛИ

ЮНОСТЬ
ФЕДИ
ПАНЬКО









В. ДРОЗДОВ Ю. КАПУСТО

ВОЙНА
НА
ХУТОРАХ,



ИЛИ



ЮНОСТЬ
ФЕДИ
ПАНЬКО

П О В Е С Т Ъ

КАРЕЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТРОЗАВОДСК 1967

Когда один из авторов этой повести, ныне покойный генерал-майор В. А. Дроздов, вернулся с гражданской войны домой, ему было всего девятнадцать лет.

Шел 1921 год. Красная Армия уже победила на всех фронтах, а здесь, на хуторах и в селах вокруг рудников, свирепствовали банды. Потерпев поражение в открытом бою, буржуазные националисты и белогвардейцы еще надеялись взять реванш. Из-за рубежа на Украину пробирались петлюровские эмиссары, они сколачивали контрреволюционное подполье и националистические банды, готовили восстание против советской власти. Началась война на хуторах — война особая, с трудноуловимым врагом. Здесь нужны были не только отвага и мужество, и даже не только военная хитрость, но еще и политический такт, чутье — победителем мог оказаться лишь тот, на чью сторону встанет народ.

Девятнадцатилетний Дроздов снова взялся за оружие и принял участие в этой войне, теперь уже как чекист. По его воспоминаниям о пережитом и виденном и написана эта повесть.

Другой автор книги — Ю. Б. Капусто спустя двадцать лет примерно в таком же возрасте была участником Великой Отечественной войны, служила в разведрот дивизии.

Их совместными усилиями и создана эта книжка, незадолго до смерти Виктора Александровича Дроздова.

Названия населенных пунктов и имена людей изменены.



1

Красный конник Федя Панько вернулся с фронта домой в трофейных ботинках, которые оба были на левую ногу. Совсем не хотел старшина позорить лихого кавалериста, да, как назло, ни одного правого в каптерке не оказалось.

Что же, нет, значит, нет. Федя ограничился тем, что один ботинок, тот, что был предназначен для правой ноги, подобрал на два номера больше, чтобы не жало. Ходить в атаку и рубить белогвардейцев в ботинках на левую ногу было, по правде сказать, вовсе не так уж плохо, тем более что кавалерист Федя был и правда отменный. Мучения начинались, когда эскадрон проходил через село. Федя был бравый парень, в седле держался заправски. Ясно, ему хотелось покрасоваться перед девчатами, которые, стоило кавалеристам появиться в селе в какой-нибудь праздничный день, выставятся, бывало, вдоль улицы, лузгают семечки да глазают на всадников.

Он приловчился было к своему положению: если ехать в конном строю с левого фланга, его самого-то заметят, а его правой ноги, обутой в левый ботинок, никто не увидит, и будет Федя парень что надо — не одна обернется. Но Федины товарищи любили над ним подшутить:

они старались вытолкнуть его к правому флангу, чтобы его правая нога, обутая в левый ботинок, непременно оказалась снаружи, у всех на виду.

А каково ему было теперь, добираясь до дома, вышагивать в двух левых ботинках по поселку своего рудника! Он шел и оглядывался по сторонам: как бы не встретить кого-нибудь из знакомых.

К счастью, в тот поздний мартовский вечер улицы поселка были пусты. Встретилась ему только мать, видно, что-то подсказало ей сердце: как узнал Федя позже, весь этот вечер она простояла возле ворот, вглядываясь в дорогу, сама, наверное, не зная, чего она ждет...

Дома отец пожалел своего боевого сына. Правда, посмеялся над ним, но снял с себя сапоги, отдал их Феде. И как только мать до сих пор удержалась: не променяла эти сапоги на муку! Рудник давно уже не работал, в доме нечего было есть. Отец, слесарь, брал молоток, паяльник и шел по селам: чинил ведра, паял кастрюли. Но работа попадалась все реже, за труд платили все меньше.

Пожил Федя дома несколько дней на материнских хлебах. И как только мать все это добывала — ясно, что в долг брала, но Федю, невзирая на времена, она принимала так, как и должно принимать старшего сына, вернувшегося из тяжелых боев.

Федя, однако, все понимал: пора было уже принимать за дело.

В Нижнеярском военкомате, куда он явился, чтоб встать на учет, его спросили: «Что думаешь делать, парень? Хочешь в волости в военкомате работать?».

В военкомате! Конечно же, хочет...

По городам в ту пору всюду у нас были поставлены комиссары — представители новой, советской власти: комиссар продовольствия, комиссар наробраза, и даже в бане свой комиссар! А вот в волости был всего один комиссар — военный. Один! Значит, всё на нем! Как же не хотеть было Феде Панько работать в волостном военкомате?

2

В Каменке, куда Федя получил назначение, военным комиссаром работал товарищ Сахно, тоже стреляный, боевой человек. Роста он был невысокого, плечистый —

силы хоть отбавляй! — с черными живыми глазами, с сильным, навсегда простуженным голосом. Ходил он в галифе, в гимнастерке, перепоясанной тоненьким ремешком, был молод и энергичен. Хотелось ему руководить и налаживать дело, а руководить было нечем: Каменка считалась беспокойным селом, и идти на работу в здешний военкомат никто не хотел; потому так и обрадовался Сахно Федииному приезду.

— Это хорошо, что тебя прислали сюда. Парень ты с фронта, к тому же — рудничный. Будешь здесь заместителем военкома. Завтра с утра приступишь к работе, а пока — дело вечернее — я тебя отведу к лучшей хозяйке.

И товарищ Сахно сам повел Федю Панько на квартиру и сам наказал хозяйке, чтобы она получше ухаживала за его заместителем.

— Ты, Марфа, и корми этого парня, — категорически сказал Сахно. И добавил не очень уверенно: — А мы тебе за это паек дадим.

— А когда ж вы его дадите? — поинтересовалась хозяйка.

— Когда будет, тогда и дадим. А пока что корми. Сама понимаешь — человеку есть надо каждый день.

Хозяйка была по тем временам не бедной. Когда военком привел ей постояльца, она как раз доставала с лежанки дежу с подошедшим тестом.

Пришлось ей в ужин и Федю угощать пирогами.

Пироги были белые, пышные, из лучшей муки — на масле, на сметане, на яйцах, — просто пироги самых довоенных времен, только начинка была из макухи, хотя с кухни несло жареным мясом. Не успела, видно, хозяйка поставить для Феди особое тесто, зато начинку особую приготовить ему успела.

И прежде и после приходилось Феде жевать макуху. Бывало, дадут в отряде корму для лошадей, кусок коню дашь, как положено, а кусочек небольшой себе выделишь из пайка лошадиного: конь за это в обиде не будет.

Справился он с макухой и в этот раз.

Зато перины хозяйка ему положила барские: перины постоялец не пролежит, а будет доволен. За постояльца, глядишь, другую повинность снимут. Тем более, что постоялец-то не простой — привел его сам комиссар Сахно. Военкомат той порой в волости считался большой

властью: военкомат брал парней на войну, брал лошадей, брал, если нужно, повозки, мог лошадей и повозки отправить на фронт, мог и здесь определить их на какое-то дело.

Хозяйка подумала, принесла одеяло и, наконец, озаченно вышла из горницы, осторожно прикрыв дверь и оставив на всякий случай узкую щелку.

С утра началась работа.

Панько расклеил по улицам написанный крупными печатными буквами приказ за подписью военкома о том, что завтра к восьми утра первая сотня должна вывести на базарную и единственную, между прочим, площадь Каменки всех лошадей.

На другой день в восемь утра на площади прямо перед окнами военкомата стоял простой деревянный стол, покрытый, важности ради, выцветшим кумачом.

За столом сидели военком товарищ Сахно, ветврач, ветфельдшер, писарь и сам Федя Панько, а чуть поодаль на площади толпились мужики, приведшие лошадей. Коня беспокоились, переступали с места на место. Пахло навозом и потом.

Хозяин подводил лошадь к столу и топтался с ней рядом, не отпуская поводьев. Из-за стола подымался фельдшер — рослый рыжий детина с громовым голосом, которого хватало на всю площадь, — обходил лошадь сзади и спереди, хлопал ее по крупу, производил обмеры, заглядывал в рот и во всеуслышание объявлял:

— Кобыла рыжей масти, на лбу — звезда, задняя правая по бабку белая, рост два аршина и два вершка, четыре года.

Врач и военком тут же решали: «В обоз! В артиллерию! В кавалерию!»

Федя писал.

Дядько мог возмутиться — бывало и так.

— Да шо ж вы делаете? Она ж никуда... Така ледаща, погана, не сгодится она для дела.

— Ничего-ничего, сгодится, ты пока проходи, — торопил военком, — видишь, сколько народу!

— Следующий! — выкрикивал фельдшер.

Лошадей сейчас никуда не брали — пока это был только учет.

Подводили следующего коня.

— Мерин, масти гнедой, передняя левая в чулке, пять лет, — гремел ветфельдшер.

— В кавалерию! — решал военком.

Случалось, не выдерживал дядько:

— Черт бы побрал вас с кавалерией вашей... Куда я без коня?

Всякое было: угрозы, проклятия. А тут еще солнцепек. Время уже за полдень — жарит по спинам, по непокрытым затылкам, да и есть уже хочется — сколько часов просидели, а вряд ли кто из грозной комиссии утром досыта ел. Но комиссия тем не менее восседает за своим столом невозмутимо.

— Следующий! — говорил военком.

А иной мужик, что похуже одет, вдруг улыбнется и скажет спокойно:

— В кавалерию так в кавалерию. И я с ней пойду.

И комиссия заулыбается — есть же все-таки люди на свете. Есть ради кого жить и работать. Тогда и солнцепек не солнцепек и голод не голод.

Но больше среди мужиков было таких, которые молча подводили и уводили коней — пойди угадай, что у них на уме.

Те, которые уже увели своих лошадей по домам, возвращались на площадь и переминались с ноги на ногу невдалеке от стола, покрытого кумачом. Они переговаривались между собой, кое-что долетало и до стола.

— Семен-то схитрил. Вороного дома оставил.

Федя Панько, считавший себя в свои девятнадцать лет бывалым кавалеристом, с интересом поглядывал на коней: «Мне бы такого!»

Солнце уже пошло на перевал, а конца нет и не видно.

— Серая в яблоках! — гремит голос ветфельдшера.

Федя примеривался к коням, а сам подумывал время от времени: чем-то его сегодня хозяйка будет кормить? С утра она его со двора проводила голодным: рано еще, мол, ничего не успела сварить. Заместитель военкома — серьезный работник, а желудок жалобно так, потихонечку ноет, тянет свое...

Взглянет Федя на комиссара Сахно — тот сидит бодрый, деловитый, веселый, будто только что встал, умылся, поел и только вот-вот подошел к столу.

— Посторонись, дядьки! Дорогу коню!



Это вот человек!..

И Феде становится стыдно за себя и за свой нетерпеливый желудок.

Утром третьего дня своего пребывания в Каменке Федя сидел в военкомате за столом, на котором был расстелен выпрошенный им в волисполкоме большой лист оберточной серой бумаги. Он составлял ведомость — результаты вчерашней выводки лошадей.

День был воскресный, но смешно было бы работнику военкомата думать об отдыхе.

Вдруг с улицы раздался чей-то пронзительный крик:
— Убили! Ох, боже ж ты мой, убили!

Федя опрокинул стоящий перед ним табурет, перепрыгивая через ступеньки, сбежал с лестницы и застыл в дверях.

Мимо военкомата проезжала тачанка. На тачанке сидели трое. Между двух молодых парней, которых Федя не знал, сидел военком товарищ Сахно, но сидел он странно, будто бы не своею волей — ребята крепко держали его с двух сторон.

Голова его была запрокинута сильно назад, вдруг тачанку трянуло, и голова упала вперед на грудь. Только тогда Федя понял, что на тачанке везут убитого комиссара.

Тачанка проехала мимо военкомата в сторону дома, где жил товарищ Сахно, и Федя увидел, как бежала навстречу тачанке жена комиссара. А он все стоял у крыльца и не знал, что ему делать сейчас и куда идти.

3

— Теперь ты знаешь, что такое бандиты?

На Федю смотрят темные, глубоко и близко один от другого посаженные красные — то ли от ветра, то ли от бессонных ночей — глаза секретаря волостной ячейки товарища Горищенко.

— Видишь, что они с комиссаром сделали.

Только вчера хоронили военкома Сахно, убитого бандитами у Тарасовских хуторов.

— Не можем мы такое терпеть, — говорит секретарь.

Конечно, терпеть бандитов больше нельзя — они совсем обнаглели. Но почему секретарь говорит об этом ему, Феде Панько?

— Для борьбы с бандитами нам надо создать отряд, — продолжает Горищенко.

Позавчера, когда привезли тело Сахно, весь волостной актив сел на коней и с Горищенко во главе поскакал к Тарасовским хуторам, где засела банда, убившая комиссара. Федя Панько, которому дали винтовку и лошаадь погибшего, себя показал при этом истинным кавалеристом — Горищенко ставил его всем в пример. Но бандитов и след простыл у Тарасовских хуторов. Рассеялись, будто их и нет и не было вовсе. Остались в память от них только пустые гильзы, рассыпанные у околицы.

Да, чтобы бандитов выследить и разбить, нужен особый отряд. Что же, Федя готов пойти в этот отряд, он человек военный.

— А командиром отряда ты будешь, товарищ Панько, — добавляет Горищенко.

Это вот свалилось на Федю совсем неожиданно.

— Почему именно я? Я молодой. Я никогда не командовал.

— Ты служил в Красной Армии, был в боях. А потом, ты парень рудничный. Это вот главное. Ты же сам знаешь, что рабочий класс у нас — авангард.

Рабочий-то класс авангард, но как он, Федя Панько, будет командовать целым отрядом?

Федя сидел и молчал, не отказывался и не давал согласия, но секретарь и не ждал от него никакого ответа. Он говорил обо всем как о деле уже решенном и, желая ободрить Федю, обещал ему дать в отряд старого коммуниста: он, мол, будет Феде за комиссара. Горищенко сам не так давно был рабочим на заводе Эльворти в Елизаветграде и уже привык к тому, что партия за него решала, где и на каком посту ему следует быть.

Когда Федя ушел от Горищенко, все действительно было уже решено.

Так невероятно было случившееся, что Феде казалось: он — это уже не он, а кто-то другой, всесильный, всемогущий, способный сделать все, что захочет.

Федя не знал, что счастливый человек всегда бывает таким. Он даже не знал о том, что он счастлив. Он только знал: это его, именно его назначили командиром отряда.

4

Через несколько дней вместе с начальником милиции Федя Панько приступил к формированию отряда по борьбе с бандитизмом. Партийного билета у Феде пока еще не было, но все считали его уже коммунистом. Так же думал о себе и он сам.

Полный титул отряда звучал весьма внушительно: отряд по борьбе с бандитизмом Каменковского волостного комитета незаможных селян. Звали в отряд тех, кому было что защищать, кто получил от Советов землю.

Отрядникам не полагалось ни пайка, ни оклада, каждый поэтому должен был, как и прежде, заниматься своим хозяйством, а когда это нужно, идти в поход со своим узелком.

Оружие многим предстояло добыть в бою; пока милиция поделилась своими винтовками и патронами да кое-что нашлось по домам.

Коней тоже следовало добыть — это было не просто. Уездные власти разрешали брать лошадей у кулаков. А кулаки уводили коней, загоняли им в копыта гвозди так, чтобы конь захромал, а то не давали коню ни пить вдоволь, ни есть — чтобы на него не хотелось глядеть, а порой даже решали: лучше коню вовсе погибнуть, чем служить в этом отряде, и давали ему толченное стекло с отрубями.

Секретарь ячейки Горищенко Феде помог — все эти хитрости он видел насквозь. Все же удалось подобрать для отряда отличных коней.

Взятые кони временно принадлежали отряду, но оставались в своих прежних конюшнях. Теперь хозяин отвечал за коня всем, что имел.

Бои начались раньше, чем было сделано все, что нужно, — так казалось во всяком случае Феде — жизнь не ждала.

Бандиты нападали внезапно, но избегали открытых боев: их приходилось преследовать, выбивать из селений, снова преследовать; вдруг они наносили неожиданный удар и исчезали; опять начиналась погоня, бой у какого-то хутора и снова погоня.

Банды на Украине были в ту пору как ветер в поле. Налетели, бед натворили, и нет их. Рассыпались кто куда по домам, а потом собрались, ударили где-то уже не здесь, а за двадцать верст — они всегда были конные — и снова рассыпались. Сила их была в том, что они воевали дома. Многие из них, хотя далеко не все, были из зажиточных хуторов. Сами они были одетые, сытые, не знали нужды, и кони у них были сытые, крепкие — таким коням можно доверить себя.

Въедет Федя Панько со своим отрядом в село и, не слезая с коня, спросит у встречного: «Дядько, видел тут верховых?»

Дядько покосится: сами-то, мол, чьи вы? И на всякий случай ответит уклончиво: «Мало вас тут носит, чертей. Ничего я не знаю».

Отряд минует село, выедет в степь, и Федя видит в бинокль облачко пыли — значит, банда только что проскочила через это село. Эх ты, дядько, знал, а сказать не захотел...

Мчатся по улицам на бешеной скорости всадники, в правой руке — винтовка, в левой — поводья, а дядьки

закрывают ставни и прячутся, чтоб ничего не видеть и не держать ответ.

Каждый день новые вести: там встретили бандиты на улице активиста или продработника и зарубили его на глазах у людей, там убили конюха из милиции, а могли они порешить и просто того, кто на глаза попался,— чтоб знали, помнили и боялись.

Верные вести обрастали ложными слухами. Прошла вдруг по Нижнеярью молва, что в Каменке зверски убит командир отряда по борьбе с бандитизмом. Как позже Федя узнал, слух дошел и до рудника, где жили его родные. Мать от горя слегла, а как только встала — поехала в город разыскивать могилу старшего сына.

А Федя был жив и невредим. В отряде его уже скопилось немало оружия, захваченного у бандитов в боях, и сам он тоже основательно вооружился: на боку — шашка, в кобуре — наган, за плечами — винтовка, на груди — бинокль немецкий, тоже трофейный. И главный трофей — конь вороной с белой звездой на могучей груди, с сильной короткой шеей, горячий и быстрый. Федя называл его Ласточкой.

Только с одежонкой вот было плохо. Стоило Феде однажды зайти к портному со старым пальто, которое ему подарил отец и из которого Федя задумал сделать себе галифе, достойные командира, так как его штаны были уже изрядно истерты седлом, стоило ему, конфузясь за свое поношенное белье, раздеться перед портным, как на улице в тот же миг раздалась стрельба. Федя выскочил, бросив у портного отцово пальто и на ходу натянув старую, испытанную одежонку. Долго потом портной поджидал своего заказчика.

Случалось, неделями Федя пропадал в погоне за бандой. Интересно было решать задачки, которые ему задавала банда: облачко пыли движется от развилки по левой дороге, а Федя сворачивает со своим отрядом на правую и тут-то как раз и настигает ядро банды. Оказывается, влево, как он и понял, для отвода глаз пустили только несколько всадников.

Стоят у хозяев в стойлах взмыленные, потные кони, все, как один, «только что с поля», а сбруя висит тут же сухая. Нет, не были те кони в упряжке, это расседланные бандитские кони — значит, и седла и хлопцев тут же надо искать.

И что-то слишком уж много сынов — розовых, откормленных и молодых в этом селе. Нет, то хоть и сыны, да не все они ваши. Это банда расположилась!

Ну что ж, давайте знакомиться, хлопцы!

Скоро о командире отряда пошли слухи: хитер!

Даром что молод, горяч, а дуже хитер!

И скор и хитер!

Слухи эти доходили и до Феди, и очень льстило ему, что о нем так говорят. Что ж, дурачки все повывелись, чему удивляетесь?

5

Дом, куда Федю привел военком, стоит на углу: одна калитка выходит в переулок, другая — на улицу. Через переулок стоит другой угловой дом и тоже смотрит на улицу и в переулок.

В этом доме живут Петрищенки, семья, которую в Каменке знают все. Половину дома они сдают учителю, в другой половине — сами. Во дворе стоит еще один флигель. Этот флигель Петрищенки тоже сдают. Здесь живет молодая учительница Нина Александровна Поречная с матерью и с замужней сестрой.

Федя редко бывает дома, но уж если он дома — трудно ему оттянуть себя от окошка. Переулочек узенький, и из окошка видно все, что делается на соседнем дворе: плетень жидковатый и ничего не скрывает.

По вечерам Нина Поречная выходит иногда посидеть на скамеечке, что стоит под большими акациями у самой калитки. И только она появится, сразу же обступают со всех сторон кавалеры — будто из-под земли вырастают, и Феде Панько из его окна уже не видно Нину Поречную. Да ему и не нужно совсем видеть ее — просто ему любопытно, чем же она так притягивает к себе этих ребят?

Никогда Федя не слышал, чтоб Нина смеялась, шутила. Напротив, она слишком строга, серьезна, разве что изредка застенчиво улыбнется на шутку. Волосы зачесаны гладко, одета просто. Сидит и молчит, а никому возле нее не скучно. Вот ведь загадка — что же это такое? И самому Феде не скучно было бы так вот без дела стоять у окна — только времени нет у него на такое занятие.

У Нины темные глаза под длинными ресницами, русая коса до колен и яркий-яркий румянец.

Но что до этого Феде?

Если он часто смотрит из своего окошка в соседний двор, то вовсе не из-за Нины. Есть другие причины, в силу которых Феде стоит проявлять интерес к дому напротив.

Петрищенки — это семья, о которой часто говорят в волисполкоме. Собственно, речь идет не о всех Петрищенках, а только о Жорже. И Жорж как раз в Каменке и не живет, а где он, этого не знает никто: во всяком случае, этого не знают в волисполкоме.

Еще совсем молодой человек — может быть, года на три только старше Панько, — Жорж Петрищенко уже успел послужить прапорщиком в царской армии, потом был у Деникина, позже перешел на сторону красных и стал работать в Каменке военкомом. Девушки в Каменке были без ума от военкома, который, не успев вернуться домой, прослыл здесь завиднейшим женихом, — обходительный, видный собой, весельчак и красавец, а при этом удал и, как говорят, бесстрашен.

В двадцатом году, когда в Каменке проходила мобилизация в Красную Армию, здесь возникло нечто вроде «бабьего бунта»: на площадь перед военкоматом вместо мобилизованных собралась толпа матерей и жен. Во время этого бунта пушечным выстрелом из-за плетня был убит начальник волостной милиции. Позже прошел слух, что к убийству причастен сам военком, недаром же он из бывших. Этот слух подтвердился его внезапным исчезновением. Говорили, что Жорж скрывается в банде. Но сболтнул это кто-то или его действительно видели с бандой, сказать было трудно.

Федя, ближайший сосед Петрищенков, считал, что обязан присматриваться к этой семье.

Отец Жоржа, бывший штабс-капитан, жил в Лиманске. Наверное, он имел там другую семью. Здесь жила мать Жоржа — маленькая, скромно, даже бедно одетая женщина; лицо ее всегда было горестно и тревожно. Когда ее начинали допрашивать, она только плакала и говорила, что ничего не знает о старшем сыне. С утра до ночи она работала на семью.

Вместе с нею жили два сына и дочь. Дочь, ее звали Феня, некрасивая и робкая девушка, почему-то всегда

краснела, увидев Федю. Двенадцатилетний Андрюша, встречая Федю верхом на Ласточке, долго не мог от него оторвать глаз — он в ту пору увлекался конями. Другой сын — неуклюжий, неповоротливый Сева — был Фединых лет. Так же, как Федя, он несколько лет назад учился в агрономической школе, теперь он любил, встретив соседа на улице, остановиться и поговорить с ним о научном ведении хозяйства. Федя же тратил время на разговоры с Севою Петрищенко не ради любви к агрономии, во всяком случае, не только ради нее.

Но сколько ни приглядывался Федя к соседской семье, он не замечал ничего подтверждающего, что Жорж находится в банде.

6

Ездили по селам не только тогда, когда нападали на след бандитов и знали, где их искать. Ездили и для того, чтоб люди знали: есть отряд, есть на бандитов управа. Часто с отрядом ехал начальник милиции — краснолицый, сильный, всегда веселый Максим Кушнир. Бывало, поднимется Максим на тачанке, держась за серебряную рукоять своей шашки, звучно крикнет:

— А ну-ка песню!

Федя ехал всегда впереди. Он обычно и запевал.

Пели песни гражданской войны:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов
И, как один, умрем в борьбе за это...

А иногда вдруг какой-нибудь старый бравый солдат запевал по-другому:

Смело мы в бой пойдем за власть святую
И, как один, прольем кровь молодую.

Пели и вовсе старинные песни:

Взвейтесь соколы орлами,
Полно горе горевать...

А кругом стелилась широкая степь, над головой синело ясное небо, грело жаркое солнце — и так хорошо было ехать на самом скором коне впереди отряда и петь и ничуть не бояться ни бандитов, ни черта, ни дьявола.



Федя ехал всегда впереди.

Скоро стало понятно, что солнце делает лишнее — с самого апреля ни одного дождя!

Трава раньше времени начинала желтеть, земля иссыхала насквозь и трескалась от жары. Дорога ложилась под копыта твердая как камень, а как пройдет отряд — вставала за конниками желтыми клубами пыли.

Будет ли хлеб?

Ездить по селам становилось не так-то просто.

Коней расставляли по богатым домам и зорко следили за тем, чтобы они были накормлены и напоены. Коня накормить — это прежде всего. Но, к сожалению, люди тоже хотели есть: того, что брали из дому, конечно же, не хватало. Каждый сам договаривался с хозяином, где был на постое. Дударь, веселый верзила, единственный в отряде, который не чернел и не худел во время походов, как-то зашел в хату, где ночевал командир, поставил на стол корзинку яиц, большой кусок сала, бутылочку самогона. Федя накричал на него, приказал ему отнести все припасы туда, где он их взял, и пригрозил, что совсем выгонит его из отряда.

Вовсе не святой был Федя Панько — и он любил яйца, и сало, и самогон даже, в самую меру, конечно, — а только нельзя допускать, чтобы отрядники лазали по погребам, как бандиты.

Но как ни строг был Федя с бойцами, все же не раз ему приходилось слышать по селам: «Что ж вы ездите всё, людей объедаете»...

До чего же обидно слышать такое командиру, который ничего не спускает своим бойцам и держит их в черном теле — быть может, даже излишне. Вон у бандитов какие гладкие рожи, а сытость — это ведь тоже сила!

7

В боях и походах командир отряда вовсе пообносился. Белье у него попрело и теперь разлезалось на полосы — сменить было не на что. Как-то он признался в милиции:

— Я ж, ребята, совсем голый хожу.

Максим Кушнир решил удостовериться в этом лично:

— А ну, покажи.

Федя завернул на животе гимнастерку: нательная рубашка лентами свисала с плеч на живот и на грудь.

Начальник милиции все это внимательно разглядел и счел, что командиру отряда в таком белье и правда ходить непристойно. Нужно сказать, что Максим Кушнир по тем временам был щеголь, поэтому он и к Феде в этом вопросе отнесся с таким сочувствием.

— Ладно, я скажу дяде Саше, белье тебе раздобудем.

Дядя Саша, заместитель начальника милиции, сильно располневший и уже облысевший к своим сорока годам, был старым солдатом и трижды георгиевским кавалером. Конечно, своих крестов, как коммунист, он не носил, но про его храбрость Каменка знала. Всем известна была и его доброта. К Феде он относился особенно дружелюбно: у него самого еще не вернулся из армии сын Фединых лет. Приказ одеть командира отряда он встретил с жаром.

В ту пору действовали такие порядки: если на базаре обнаруживали в продаже вещи военного образца, они подлежали изъятию — коли, мол, нужно тебе, носи. А раз продаешь — значит, взял лишнее и спекулируешь.

Федя участия в облаве не принимал, но с нетерпением ждал в милиции дядю Сашу: с чем-то он вернется с базара?

Во время облавы на рынке обнаружили три пары белья из солдатской бязи. Одна пара белья — самого большого размера — была отдана Феде.

Ради такой удачи Федя сел на коня и поехал на пруд купаться. Мыла у него не было, но вместо мыла в ту пору на Украине употребляли белую глину. Федя выпросил комочек глины у бабы, которая у пруда полоскала белье. Растерев себя глиной, он бросился в воду и вышел из пруда чистый и розовый, как новорожденный, с удовольствием натянул на себя белье — неважно, что кальсоны едва достигли колен, а рукава доходили как раз до локтей, — белье было чистое, глаженое, это вот главное.

Выстирал он заодно и свою гимнастерку, тут же высушил ее на ветру; после этого выкупал лошадь — пока он купался, Ласточка паслась на лужайке, — сел на нее и почувствовал себя победителем.

Федя был длинный и тощий парень, однако при этом у него была широкая кость, и, глядя на него, нетрудно

было понять, каким представительным он может стать, если кость эта когда-нибудь обрастет мясом и жиром.

Но уже и сейчас, взобравшись на Ласточку, вымытый, чистый, Федя чувствовал себя необычайно солидным. Он торжественно въехал во двор милиции и поблагодарил от души дядю Сашу и Максима Кушнира — оба они как раз в этот момент выходили из дому.

— А впору тебе? — посомневался Максим.

— Коротковато. Да ведь не видно.

Дядя Саша оттянул руками широкий ремень, над которым нависал его круглый живот (была у него такая привычка — должно быть, ремень, застегнутый на последнюю дырочку, провернутую уже им самим, все же был ему туговат), и сказал-убежденно:

— Я не я буду, Федька, если я тебе еще не достану. Чтоб было впору.

Максим засмеялся:

— Зря обещаешь, Саша. Чтоб ему было впору, это по особому заказу пришлось бы делать.

Федя уверил их обоих, что ничего другого ему не надо — и так чересчур хорошо.

Они еще постояли и посмеялись, и никто из троих не знал, что дядя Саша и правда зря обещает Феде: не прошло с того дня и недели, как он был убит бандитами.

Максим Кушнир и дядя Саша оседлали коней и поехали куда-то по своим неотложным делам, оставив командира отряда у милицейских ворот во всем его блеске.

А когда человек себя чувствует в форме, хочется ему, чтоб на него поглядели, и не только Максим Кушнир и дядя Саша, а пусть еще кто-нибудь и другой. Это естественно, и не будем винить Федю Панько за то, что ему захотелось проехать по переулку мимо дома, в котором жила Нина Поречная.

Уже вечерело, и он надеялся, что увидит ее. Стояла пора школьных каникул, и Нина не работала в школе; день она проводила обычно в поле или на огороде, а вечером отдыхала под акациями на своей скамеечке. Кое-что Федя о ней уже знал. Знал, что брата Нины, вскоре после того как он вернулся с войны, убили бандиты; что отец ее был крестьянином, что он умер этой весной, и все хозяйство теперь лежало на Нине. Это трудно было представить себе, глядя на застенчивую, тихую девушку всегда с книжкой в руке, но было это именно так: сестра

Нины не была приучена к деревенской работе, а муж ее еще не пришел из армии.

Феде сейчас посчастливилось: он увидел через плетень, что Нина действительно сидит на своей скамеечке и что-то читает. Она была совершенно одна, что редко случалось, и Федя счел это за удачу. Он проехал мимо нее (она даже головы не подняла от книжки), привязал Ласточку к забору и с независимым видом прошагал через двор. Из окна своей комнаты он увидел, что Нина по-прежнему сидит, склонившись над книгой. Была ли она красивой? Этого Федя и сам не знал. Может, и не такая она красавица, а вот поглядишь на нее, и какой-то покой в душе.

На этот раз Федя был полон решимости. Никогда еще он не пытался заговорить с Ниной Поречной. Выйдя из дому, он подошел к ней, спросил, можно ли посидеть с нею рядом, она сказала, что можно, но не оторвалась от книжки.

Может быть, Феде нужно было самому начать разговор, но он почему-то решил: довольно уже и того, что он сел рядом с ней. А кроме того, он, по правде сказать, и не знал, о чем следует говорить с Ниной Поречной. Ему казалось, что Нина могла бы отложить свою книгу и спросить у него что-нибудь: хотя бы она спросила про Ласточку, которую он привязал к забору, — откуда у него такая хорошая лошадь и какой ее нрав. Федя слышал, что Нина любит коней и прекрасно ездит верхом (видно, в хозяйстве отца ей приходилось всем заниматься). Но Нина молчала.



Молчал и Федя. Потом она закрыла книжку и пошла к своему крыльцу.

Тут только на Федю нахлынуло множество мыслей, вполне подходящих для разговора с работником просвещения — ведь и действительно он должен крепить связь с учительской интеллигенцией! Но уже было поздно, и Федя утешил себя: все равно ему не до девушек. Где бы он нашел время, чтобы поддерживать это знакомство, если б оно завязалось?

Неудача не помешала ему подумать о том, что надо поесть.

Если б можно было не есть! Может, кто-нибудь и мог ввиду революции жить без еды, но Федя Панько, как ни досадно ему это было, не мог. Не мог, хоть и предан был рабочему делу. Есть же на свете, наверное, такие необычные люди, которые никак не зависят от своего желудка, а Федя был самым обычным, и нелегко ему было справиться со своею утробой. Ох как нелегко, если при этом

нужно соблюдать и принципиальность, и гордость, и к тому же блюсти честь командира!

Федя пошел домой, на половину хозяйки, сел и решил обождать — посмотреть, как развернутся события. Не мог же он прямо сказать хозяйке, что хочет есть, — этого не позволяло ему чувство собственного достоинства.

Хозяйка, наверное, понимала, в чем дело, но ей тоже не хотелось лишний раз отрываться от себя — постоялец часто ездил по селам. Может, и в этот раз уедет куда-нибудь. Была б она молодая, она



бы постояльца жалела,— это Федя отлично знал. А эта жизнь уже прожила, ее никто никогда не жалел, и она поэтому никого не жалела. Да и, по правде сказать, хоть бедной ее назвать, конечно, было нельзя, а избытка-то все же не было.

Хозяйка продолжала свои дела, а между прочим занимала жильца разговором.

— Что у вас нового? Когда переловите всех бандитов? Когда же власть будет наконец-то властью?

Федя и не знал, что его хозяйка так неравнодушна к политике.

Наконец он не выдержал:

— А нельзя ли было бы кипяточку попить?

— Чего-чего? — притворно удивилась хозяйка. — Кто же пьет пустой кипяток?

Федя смолчал, тогда хозяйка вынуждена была спросить:

— Да ты, наверное, хочешь поесть?

— Неплохо бы и поесть, — небрежно ответил Федя, — тем более после бани.

— Так бы и сказал! С легким паром тебя. Как же не поесть после бани?

Она полезла в печку, вытащила рогаком горшок с постным борщом, достала с полки кусок серого хлеба — чего только не было примешано в нем к пшенице!

Все было съедено без остатка — неторопливо, внимательно, с уважением к каждой стружке капусты и бурака в этом борще, к каждой крошке тяжелого и совсем несытного хлеба.

— Вот и заправился! Славно поел — должно хватить на целые сутки. Теперь можно снова идти в милицию — ночевать с ребятами на сеновале.

Бойцы отряда, даже те, которые имели в Каменке свой дом, любили на ночь прийти — то один, то другой — сюда: с тех пор как стало тепло, сеновал милиции не пустовал. Здесь было весело. Дударь — шутник и балагур — рассказывал свои бесконечные похождения, степенный — в летах уже — Степа Кабугин вспоминал о войне, и молодой командир тоже любил здесь тряхнуть стариной — пусть он молод еще, а у него тоже было свое боевое прошлое!

А главное — здесь было безопаснее, чем дома.

Немного времени прошло с тех пор, как секретарь партийной ячейки вызвал Федю для разговора, а в округе уже всем было известно, что в Каменке появился отряд по борьбе с бандитизмом. Банды стали вести себя тише: реже появлялись в селах среди бела дня, реже совершали налеты.

Быть может, дело было не только в отряде Панько. Той порой, в середине лета двадцать первого года, по многим дорогам Украины проходили войска, те самые войска, которые выбивали из Крыма Врангеля, а теперь часть из них шла по домам, а часть направлялась на запад, к границе.

Не миновали эти войска и Каменку. Движение войск сковывало бандитов. Быть может, банда действовала где-то подальше, но так или иначе в районе Каменки стало потише.

Федя решил, что можно отпроситься на побывку домой. Хотелось ему повидать родных да и себя показать на руднике: какой он теперь стал.

В его отпускной были написаны торжественные слова: «Дано командиру отряда по борьбе с бандитизмом Федору Андреевичу Панько в том, что он отправляется в отпуск домой с 20 июня по 5 июля 1921 года. Ему предоставляется право пользоваться обывательскими подводами. Всем властям приказываю оказывать ему всяческое содействие. Начальник 6-го боевого участка М. Кушнир».

Дорога шла степью, сухой, раскаленной, сгоревшей к середине июня, как она не сгорала к осени. Мертвая, сухая земля, казалось, кричала зияющими трещинами, как сотнями разинутых ртов. Земля просила, требовала, молила воды.

Чем ближе к дому, тем жарче, тем суше. Теперь Феде казалось, что в Каменке благодать: только здесь видны были размеры беды.

А навстречу уже тощие клячи тянули подводы, нагруженные мешками с тряпьем и детьми, — первые подводы беженцев с Волги.

Лошади, изнемогая, останавливались посередине пути; в тени подвод отдыхали матери с грудными детьми, а дети постарше с мешочками за спиной разбредались по деревьям.

Однако нужно признаться: как ни тяжело было то, что открывалось в пути, это не в силах было сбить Федю Панько с праздничных мыслей, которые у него были связаны с тем, что он едет к себе домой, на рудник, и не кем-нибудь, а командиром отряда, известного уже своими боевыми делами.

Кто же поставит это Феде в вину: пусть он был уже командиром отряда — ему по-прежнему оставалось пока всего девятнадцать лет.

Был жаркий полдень, когда Федя в штанах, сшитых наконец из отцова пальто, появился на руднике. Это были не просто штаны, а галифе с кожаными ляжами. Из черной кобуры, пристегнутой к поясу, высывалась рукоятка нагана. И этот блеск должна была увидеть Тася Назаренко, девушка, жившая неподалеку от дома Панько, простая и славная и совсем не такая гордая, как Нина Поречная, а кроме нее, и все остальные жители рудника.

Хотя у Феде был за спиной солдатский мешок, он шел по улице торжественным командирским шагом, тем самым неторопливым шагом, каким ходят на утренней поверке перед своим взводом молодые командиры из вчерашних курсантов. Двери домов с обеих сторон улицы одна за другой раскрывались и раскрывались, и от крыльца к крыльцу несло впереди гостя: «Федько идэ», «Живой!»

До дома оставалось пол-улицы, а мать уже бежала ему навстречу. Всегда, сколько Федя помнил ее, сдержанная, строгая и аккуратно одетая, сейчас она бежала посередине улицы, не успев покрыться платком, и, никого не стесняясь, плакала — Федя не знал, что мать уже не считала его в живых, и не мог ничего понять.

Люди высывались из окон, смотрели на эту встречу.

А за матерью не спеша, видно стыдясь за нее перед людьми и перед Федей, шли мужчины семьи — отец и Сережа, брат, который был младше Феде лет на пять или на шесть. Брат уже перерос отца, и сейчас, когда они шли рядом, отец, приземистый, невысокий, показался Феде меньше, чем раньше.

Федя увидел их и сразу забыл о своем боевом великолепии.

Переступили порог дома, и гость заметил, что нет кровати, на которой спали мать и отец, — на ее месте стоял топчан, на нем, покрытая старым лоскутным одея-

лом, лежала Надюшка, маленькая сестренка Феди. Федя шагнул было к ней и остановился, не дойдя до топчана: лицо девочки опухло, поверх одеяла лежали маленькие отекавшие ручки. Девочка на его приветствие никак не ответила, не улыбнулась ему. Она смотрела на него равнодушно, без интереса.

Ища объяснения, Федя обернулся к матери и отцу и только теперь увидел, что с ними стало: у матери, казавшейся ему в прошлый приезд еще совсем молодой — ей и правда еще не было сорока, — теперь лицо собралось в маленький сморщенный кулачок и посерело, у отца кожа со скул свисала складками, а у брата только и осталось от лица, что нос да глаза.

«Они по-настоящему голодают!» — вдруг открылось ему, а он за все эти месяцы ни разу не подумал о том, как же они живут.

Хорошо еще, что он привез с собою немного муки, выданной ему в волисполкоме. Федя торопливо стаскивал с плеч вещевой мешок, а сам думал уже о том, что ему предпринять. Впервые он чувствовал себя старшим в семье. Впервые в своих родных он видел людей, судьба которых в его руках.

Мать засуетилась (обычно она была нетороплива в движениях, хотя все у нее получалось скоро и ладно), отсыпала в миску немного муки, убежала куда-то и вернулась с маленькой бутылочкой из-под лекарства, наполненной подсолнечным маслом.

Через час семья сидела за празднично накрытым столом; на коленях у Феди полулежала Надюшка.

Ели ржаные лепешки, пили чай, заваренный липовым цветом, слушали Федю.

А потом рассказывал отец. Мать говорить не могла — то и дело вставала, выходила из дому: она сама не привыкла к тому, чтобы ее такой видели дети.

По селам отец уже не ходил: тазы и ведра теперь никто не чинил. Отвезли в деревню и там сменяли на хлеб кровать и все, что было из белья и одежды. Осталась только одна неношенная материна юбка из шерсти в глубокую складку — ее сберегали про черный день.

Потом отец рассказывал, как мать ездила в Нижний Яр взглянуть на могилу, где, по заверениям очевидцев, был вместе с другими похоронен командир отряда из Каменки, — тут мать опять вышла из комнаты.

Рассказывали и о соседях. Федя понял, что Таси Назаренко ему уже не увидеть. Она ушла за мукой на Киевщину, да так и не вернулась; что с ней случилось — никто не знал.

А мать Таси, не дождавшись ее, взяла с собой младших (Тася была старшей в семье), собрала, что осталось в доме, на мену и тоже отправилась к хлебным местам. Шла и по дороге оставляла выбившихся из сил детей — одного за другим — в чужих домах. На обратном пути она никого не нашла там, где оставила: один заболел и умер, другие куда-то ушли от хозяев, которые, видно, их не кормили. Она вернулась домой с хлебом одна и лишилась рассудка.

Такие новости были на руднике.

Того торжественного приезда на побывку домой, о котором Федя мечтал, не получилось, если не считать первых минут, пока Федя, еще не увидев своих родных, важно вышагивал по руднику.

На другой день с решительностью старшего в доме Федя сказал:

— Собирайтесь, едемте со мною в Каменку. Что получу, будем делить, не дадут же нам с голоду помереть. И хоть оплакивать меня не станете попусту.

Отец посмотрел на него своими широко расставленными, много повидавшими в жизни глазами, и Федя прочел в них согласие, больше того — доверие. Еще никогда отец так на него не смотрел. Конца Фединогу отпуска решили не ждать — делать тут было нечего.

Мать достала из сундука ту свою последнюю юбку, которую хранила про черный день. За эту юбку подрядили подводу в Каменку.

Погрузили топчан, стол, табуреты, сундук, в котором уместились миски и сковородки, и тронулись в путь.

В Каменку приехали вечером. Арба остановилась во дворе милиции, и Федя побежал к Максиму Кушнiru.

Максим предложил подождать до утра — утром жилье найдется. Пока он нашел у себя кусочек хлеба. Дали его Надюшке, завернули Надюшку в оставшиеся тряпки и, кто на арбе, кто под арбой, устроились спать.

Ночь была теплая, мягкая — летняя ночь, какие бывают только на Украине. Едва уснули — начался дождь.

Надюшка досыпала в милиции, на столе самого начальника.

Утром милиционеры нашли на соседней улице пустой заколоченный дом. Правда, мальчишки повыбили в доме стекла, да эта беда поправимая. Хозяин этого дома умер от тифа, сын ушел в банду, мать где-то скрывалась, боясь, что придется ей отвечать за сына. И богатой-то семья никогда не была, а так всех раскидало судьбой.

Никто этот дом занимать не решался — веяло от него черной бедой, а Федя, конечно, согласился без колебаний. Говоря откровенно, он был даже рад уехать из дома, рядом с которым жила Нина Поречная. Она не замечала его, когда он там жил, но, конечно, заметит, что его там больше не будет. Заметит и даже, может быть, еще пожалеет.

Максим Кушнир дал из каких-то запасов небольшую торбу муки, мать напекла лепешек, вскипятила воды.

Во дворе перед домом росла одинокая, опаленная солнцем вишня. Ягод на ней не было, но оказалось, что и без ягод вишня — все-таки вишня.

Нарвали листьев, мать опустила их в крутой кипяток, вода стала светло-розовой и даже с едва уловимым запахом вишни.

Это было настоящее новоселье!

Мать повеселела и казалась Феде такой же красивой и статной (ростом дети вышли в нее), какой была прежде.

Теперь у Феде была здесь семья, свой дом, только не ясно было, что будет дальше. Чем он прокормит семью? Как они проживут эту зиму?

Слишком уж скорый на решения человек был Федя Панько! Не посоветовался ни с кем, сорвал с места родных, а как они жить будут здесь, не знает.

Но не в духе Феде было предаваться сомнениям. Сделал и сделал. Как-нибудь не пропадем!

И Федя отправился к секретарю волячейки Горищенко докладывать, что прибыл из отпуска.

Вовремя, очень вовремя вернулся Панько, словно кто-то ему подсказал, что какой бы отпуск ему ни дали, именно в это утро должен он был явиться в волисполком.

Не успел подняться он на крыльцо, за его спиной раздался топот. Он оглянулся. К волисполкому подъезжали

на взмысленных конях знакомый ему продработник и еще четверо всадников.

Оказалось, что их обстреляли на Семеновских хуторах, где они брали хлеб по продразверстке.

Богатые кулаки были на Семеновских хуторах. Однако продработник был убежден, что стреляли в них не местные кулаки, а засевшие на Семеновских хуторах бандиты. Он уверял даже, что видел своими глазами Жоржа Петрищенко, перебежавшего по огороду. Так это было на самом деле или только показалось ему?

Времени для размышлений не оставалось.

В волысполкоме шло совещание волостного актива. Как только стала известна последняя новость, совещание немедленно прекратили, актив посадили на тачанки и на подводы, и вот к Семеновским хуторам двигался сводный отряд.

А на одной из подвод ехали брат и отец Феди Панько. Это получилось само собой. Брат и отец вышли из дому пройти по Каменке, осмотреть новое место и встретили по дороге Федю, бегущего из милицейской конюшни.

Перед выездом Федя еще успел связаться по телефону с отрядом железнодорожников на Луговой. Ему обещали выслать к разъезду, что находился по дороге к Семеновским хуторам, стрелков из железнодорожной охраны.

Но как он их разместит на этих уже достаточно нагруженных подводах?

И тут на дороге появились арбы, везущие с поля хлеб — необмолоченные снопы.

Федя остановил подводы, велел сгрузить снопы, с этими подводами подъехал к разъезду, у которого стоял паровоз с прицепленным к нему специальным вагоном.

Удивительно удачно все складывалось пока!

У железнодорожников было два станковых пулемета.

О такой помощи можно было только мечтать.

Федя ехал впереди своего отряда и чувствовал у себя за спиною отца и брата.

До Семеновских хуторов оставалось совсем немного, когда отряд вдруг обстреляли из винтовок и пулемета.

Командир железнодорожников командовал:

— В цепи!

Конники спешились, коней отвели в балочку и легли вместе с пешими на виду у противника. Место было

открытое, казалось, что все равно: прижимайся ли носом к земле или вставай во весь рост и беги в атаку.

Федя снова почувствовал, что у него за спиной брат и отец. По спине прошел холодок. Как там ни говори — к этому все же надо привыкнуть. Да чего ж так лежать, подставлять себя как мишень! Они ж так еще скорее всех нас перестреляют...

Федя поднялся в рост, командир железнодорожников крикнул:

— Ложись!

Но Федя тоже был командир. Нет, чего уж лежать, все равно на прицеле, лучше скорее перебежать это пространство.

За Федей поднялись его конники, стреляя, сделали перебежку, под огнем залегли и снова поднялись в рост, и совсем рядом с собой Федя увидел Сергея, младшего брата. Долговязый парнишка был на голову выше многих взрослых бойцов. Что-то дрогнуло в Феде: зря он его взял сюда — молод еще.

В это время отец крикнул Сергею:

— Куда побежал? Ложись!

Ну, зачем он так? Раз в бою — что ж теперь делать...

— Вперед! — яростно крикнул Федя. — Вперед, в атаку!

Да, на этой открытой, ничем не защищенной стерне можно было только бежать в атаку.

Федя и его бойцы бежали к Семеновским хуторам, а через их головы по неприятелю строчили пулеметы железнодорожников. Всегда воевать бы с такою подмогой!

И вот уже впереди отряда рядом с Сергеем бежит отец. Он ничего не кричит больше младшему сыну, только старается, где можно, прикрыть его. Федя видит, что бежать отцу нелегко... «Эх, старый солдат!.. Лучше бы вы дома сидели оба», — мелькает у Феде, но он гонит от себя эту мысль, смотрит вперед и видит: бандиты стаскивают с клуни свой пулемет. Значит, хотят бежать!

Когда отряд ворвался на Семеновские хутора, на улицах было пусто.

Федя пошел по конюшням.

В стойлах стояли взмыленные, уставшие кони.

«Почему лошадь потная?»

И всюду один и тот же знакомый ответ: «Только что с поля приехал».

А хомуты тут же висят сухие. Но Феде это уже известно—прием повторяется! За кого же они считают его?

Раз кони в упряжке не были — значит, были они под седлом, это же ясно. Только вот седел не видно!

Домá оцепили, стали искать.

Что-то уж очень много молодых и здоровых — кровь с молоком — сыновей в здешних домах. И это — не ново! Опознали среди «сыновей» шесть человек из других деревень.

На чердаках, в стогах сена, в навозных кучах нашли оружие, у пруда — дюжину седел, зарытых в насыпи.

Трофей и пленных Федя отправил в Каменку, хотел отправить также отца и брата. Отец посмотрел на него понимающе и, как ему показалось, чуть виновато, должно быть, отец и сам себя осуждал. Тогда, батя, держись!

И снова отряд на конях.

Где же теперь банда? Где их искать? Федя был почему-то уверен, что бандиты не минуют Ивановку — зажиточное большое село. Здесь устроили им засаду, а утром и правда встретили их здесь и обстреляли. У Фадеевки банду снова подвергли обстрелу. В тот же день в лесу, у старого вяза, поймали сестру атамана банды Федора Ступака как раз в тот самый момент, когда она доставала из дупла записку от брата. На небольшом листочке папиросной бумаги было написано: «Пришли побольше йоду, ваты, бинтов».

Одно следовало из этой записки с полной определенностью: банда понесла большие потери.

Когда возвращались домой, отец вдруг повеселел:

— Ой, сыны мои, ой, орлы мои,— приговаривал он довольный.

Дома уверили мать, что Сергей и отец были в обозе — варили щи. Она, как ни странно, поверила, подумала и сказала спокойно, так, будто речь шла о самой обыкновенной службе:

— Ну и оставайтесь в отряде!

Оказывается, пока мужчины были в боях, она исходила Каменку вдоль и поперек и убедилась, что никакой работы отец здесь не найдет.

Так и решили.

Через несколько дней отряд снова сел на коней.

Нужно было привыкнуть к тому, что за спиной всегда брат и отец.

Федя с ними, как и со всеми: если надо, скомандует, если надо — прикрикнет. Но когда на привале командир отряда хочется свернуть сигарку и закурить, он прячется за плетень: не может он курить при отце. Так велика привычка, вынесенная из детства, когда мальчишкой прятался от отца с самокруткой.

Просто смешно! Командир отряда, а курить при отце боится. Да не боится, а просто стыдно. Чего стыдно-то? Что вырос уже? Что уже мужчина? Стыдно, и все.

Отец заметил, отозвал командира в сторонку:

— Федя, что ты ховаешься от меня, когда куришь? Неудобно ж при хлопцах. Командир отряда, а вроде чего-то боишься.

Федя смутился больше, чем если бы закурил при отце. От смущения крикнул:

— Мое дело, батя. Где хочу, там и курю!

Снова на какое-то время в районе Каменки банда притихла: должно быть, пришлось распустить людей по домам — залечивать раны.

Работники волости и уезда стали свободнее разъезжать по селам и хуторам, а разъезжать приходилось много; нужен был хлеб.

Вот и до Каменки добрели голодные дети: находили их, грызущих зернышки у хлебных амбаров. История у всех почти была одинаковая: из дома ушел с матерью, в дороге мать умерла, остался один. Чем же их всех накормить?

Первое время детям подавали в домах: кто вынесет хлеб, кто — моченое яблоко. Потом появились голодающие из Москвы, из Петрограда с чемоданами, с узлами для мены: за пуд, а потом и за полпуда зерна можно было получить хороший костюм, ковер машинной работы и сапоги в придачу.

Детям подавать перестали; они разбирали на доски, на щепки полы каменных амбаров, в амбарах разжигали костры, ловили кошек, собак и варили их в ведрах.

Власти наложили специальную разверстку на кулаков для голодающих. Переход к новой экономической политике уже был объявлен, но здесь, на Украине, еще какое-то время приходилось брать продрозверстку.

Для всех неожиданно — не знал этого даже Федя Панько — Нижнеярским ЧК¹ был арестован брат Жоржа Петрищенко — Сева. Ему было предложено передать атаману нижеярской банды Федору Ступаку о решении пятого Всеукраинского съезда Советов: бандиты, которые добровольно с оружием явятся в советские органы, получат амнистию. О своем согласии они должны будут сообщить через Севу.

Сева растерялся:

— А где же я банду найду?

Но если ты не чекист и не командир отряда по борьбе с бандитизмом — банду тебе, оказывается, найти все же не так уж трудно.

И Сева, близорукий, неповоротливый Сева, поручение выполнил, тем более что оно, как ему казалось, приближало мир, а Сева мечтал о мире — он вышел не в брата и не был воякой.

Через несколько дней Сева вернулся, сказал, что банда согласна на переговоры с ЧК, если ЧК до этого отпустит заложников и прежде всего сестру атамана Федора Ступака. Как уже было известно к этому времени, сестра Федора Ступака была у бандитов связной; после того как ее поймали с запиской, она сидела в тюрьме.

Федор Ступак привык никого не щадить: не пожалел он и семнадцатилетней сестры — втянул ее в свое опасное дело. И теперь он ее требовал не потому, что жалел, а потому, должно быть, что смелая девушка нужна была ему в банде: в конце концов в заключении ей было куда безопаснее, чем в отряде — это, конечно, он понимал.

Условие это, однако, было исполнено: Катю Ступак и еще нескольких человек, названных Ступаком, усадили в тачанки и повезли к указанному атаманом селению. Там их встретили всадники. После этого банда еще две недели тянула с решением — ждали, должно быть, когда окончательно пройдут Нижнеярье идущие из Крыма войска: еще нет-нет да и появлялись колонны — остатки Врангелевского фронта.

¹ ЧК — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Учреждена 20 декабря 1917 г.

В конце августа в ЧК явились пять бандитов с оружием.

И сразу в Каменке стало известно: среди них — сам Петрищенко Жорж. Значит, действительно это его видели в банде!

Уход свой в банду он объяснял безвыходностью положения: доказать свою невиновность в убийстве начальника каменковской милиции он не мог, поэтому, мол, ничего другого ему не оставалось. Теперь же, как только представилась возможность уйти из банды, он это сделал, чтобы в дальнейшем делом искупить свою вину перед советской властью.

Было, должно быть, в нем что-то такое, что располагало к нему людей. Странно, но Жоржу поверили, даже оставили его на несколько дней в ЧК, чтоб подготовить его и направить в Каменку уполномоченным по борьбе с бандитизмом.

Слух о том, что бывший военком вернется домой, докатился до Каменки.

Федя не знал, верить ли этому слуху; в смятении он поехал в ЧК: что они там, думают или нет? Вовсе не склонен был Федя Панько брать на себя больше, чем следует, и судить, верно или неверно поступает ЧК, но все же такое решение, если это только не болтовня, его удивило.

А когда в ЧК его познакомили с Жоржем, он и сам испытал на себе его обаяние.

Вот ведь чертовщина какая! Стоит перед тобой стройный молодой человек с отличной воинской выправкой, смотрит тебе прямо в глаза, весело рассказывает тебе, как ты всыпал банде у Семеновских хуторов, знает все подробности боя, не скрывает, что это именно он лежал на клуне у пулемета, и не верить тому, что он искренен, невозможно. А вот в то, что он всего несколько дней назад был тоже бандитом, уже не верится, хотя он и сам это не отрицает и признается даже, что Ступак сделал его комендантом банды.

11

Порой, пользуясь своими неписаными правами, отец говорил Феде: «Надо тебе людей подкормить. Очень уж мы церемонимся по деревням, а все равно бандиты что

увидят, то и берут». Или: «Ты смотри, кони какие слабые. Надо с хозяев, куда ставим коней, требовать жестче».

Трудно становилось отряду. Хлеб в Каменке кое-какой собрали — здесь сгорело не все, но голод надвигался со всех сторон. Дядько припрятывал хлеб в ожидании тех, кто сюда принесет на обмен узлы. Бойцов кормили по селам неохотно и скупо.

Тем строже был Федя.

— Самим ничего не брать! Чтоб нас с бандюками не смешивали!

Ясно было: в этих условиях отряд должен существовать на другом положении.

Действительно, скоро из Нижнего Яра пришел приказ: небольшие отряды по борьбе с бандитизмом, созданные по волостям, собираются в крупные отряды при уездном военсовещании. Нужно было передать военсовещанию коней, тачанки, оружие, тех людей, которые выражали согласие идти в новый отряд.

По правде сказать, Феде не хотелось бы уезжать из Каменки. То ли потому, что теперь здесь были родные, то ли потому, что привык, то ли потому все же, что здесь жила Нина Поречная. Хотя Федя уже не был ее соседом, но он встречал ее иногда в волисполкоме, куда она приходила по делам своей школы. Только в этом сообщении Федя не признался бы даже и себе самому: оно не казалось ему очень серьезным.

Ну, как скажут, так пусть и будет! Что-то в его жизни кончалось, а что будет дальше — этого он пока что не знал.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДРУГ СРЕДИ ВРАГОВ

1

Не успел Федя закончить дел по сдаче отряда, как его вызвали в уездный отдел ЧК.

Ему не предлагали заполнить анкету — в ЧК про него уже все было известно.

Ему не говорили таинственно и безлично: «Есть такое мнение», хотя, вообще говоря, мнение было.

Яша Березень, двадцатилетний начальник военной группы ЧК, которого Федя знал еще и до этого, сказал ему просто и прямо:

— Будешь работать у нас уполномоченным по борьбе с бандитизмом. Мы уже знаем, как ты воевал с бандитами. Опыт есть у тебя.

Федя не спорил. Он тоже считал, что опыт у него теперь действительно есть.

— Шуровку знаешь?

— Знаю. Был там с отрядом.

— Вот туда и поедешь. Даем тебе сразу четыре волости.

После этого разговора Яша повел Федю к председателю УЧК и сказал тому в присутствии Феди:

— Этот парень годится нам.

Председатель ЧК бросил на Федю угрюмый взгляд из-под тяжелых бровей.

Федя не обиделся на него: может быть, через час он будет решать вопрос чьей-то жизни и смерти. Он и должен быть суровым и строгим. Не должен быть киселем. А Яша Березень с жаром добавил:

— Парень он весь прямой. Когда говорит, смотрит в глаза. Ничего не таит.

С неделю Федю учили в ЧК. Давали ему закодированные документы, захваченные у бандитов или обнаруженные при обысках, — а ну, разбери. Яша Березень брал его с собой на допросы, на обыски и даже на аресты.

Федя увидел, как готовится Яша к допросам. Вдруг Яша доставал книги по строительству железнодорожных мостов или по добыче руды и погружался в них на несколько дней так, словно ему предстоял специальный экзамен. Сначала Федя не мог понять, зачем это нужно.

— Должен же я понимать арестованного во время допроса, — объяснял ему Яша. — И вообще, арестованный беззащитен. Уж раз он в твоих руках — будь к нему внимателен и справедлив. А вместе с тем пусть он знает: ты разбираешься, и тебя вокруг пальца не обвести.

Бывало, что после допроса арестованный специалист говорил:

— Когда кончится срок, я хотел бы работать у инженера Березеня.

А Яша не был никаким инженером. Он успел до революции кончить три класса городского училища и еще три года учился в реальном, а после смерти отца должен был поступить на работу.

— Чекиста могут все, что угодно, спросить, нужно уметь ответить, — оправдывал он свое пристрастие к книгам и с задором недавнего школяра вдруг обращался к Феде: — А ну-ка, задай мне любой вопрос по любому предмету. Я как в энциклопедии тебе расскажу.

И на все те вопросы, которые в состоянии был задать ему Федя, два года учившийся в сельскохозяйственной школе, куда он пришел после шести классов обычной школы, Яша мог дать толковый ответ.

Федя ему завидовал.

— Больше читай, — советовал Яша. — Бери книжки у учителя, у попа, читай подряд, что попадется, потом разберешься.

Через несколько дней знакомства Яша пригласил Федю к себе домой — пообедать.

Не так уж хотел Федя обедать — здесь, в Нижнем Яру, у него жили тетки, Федя ходил в гости и был более или менее сыт. Но он с радостью принял приглашение Яши — хотелось ему посмотреть, как же Яша живет.

О том, как должен жить коммунист, Федя имел в то время самое смутное представление. С одной стороны, раз коммунист — значит, не должно быть никакого богатства. С другой стороны, такой необыкновенный человек, как Березень, по мнению Феде, и жить должен был не так, как все остальные. Федя представил себе почему-то мас-

сивный письменный стол из красного дерева, как в кабинете управляющего на руднике, книжные шкафы во всю стену и мягкое кресло — чтобы в нем посидеть и подумать.

А жил Яша Березень так: в тесной квадратной комнате вдоль стен были поставлены три железные койки, покрытые серыми солдатскими одеялами. Из-под одеял виднелись сильно застиранные простыни из солдатского полотна и слежавшиеся соломенные тюфяки. У четвертой стены стоял простой — без скатерти — стол; на скамейке у стола была выставлена вся имеющаяся в наличии утварь: две железные кружки, три железные тарелки, ведро, синий чайник с отбитой эмалью, а под скамейкой лежали гири. Центр комнаты занимала «буржуйка» — и какой только шутник назвал так железные печки той холодной и голодной поры?!

Яша перехватил удивленный взгляд своего гостя, улыбнулся и объяснил:

— Живем коммуной. Дружно. Видишь, на тронх у нас две кружки и выходных штанов целых две пары. Хватает вполне. Один из нас всегда где-нибудь в командировке по селам.

Да, здесь было чему удивляться. В одном углу комнаты лежали грудой книги церковного содержания. В другом углу была свалена куча граммофонных пластинок.

Пока Яша ходил к колодцу, Федя перебирал пластинки и читал названия: «Верую», «Отче наш», «Исайя, ликуй». Странно.

Когда Яша вернулся, Федя спросил:

— Почему столько пластинок, а нет граммофона?

Яша засмеялся:

— А сейчас и граммофон услышишь.

Он оторвал от одной из книжек несколько полосок бумаги, потом взял в руки пластинку, сломал ее о колено, сунул в печку вместе с бумагой, чиркнул спичкой, и в печке вспыхнуло, загудело. Яша поставил на печку чайник. Нужно было лишь успевать ломать о колено пластинки и подбрасывать их в ненасытную печку-«буржуйку». Пластинки сгорали быстро. Яша учил Федю: если плотнее класть, они медленнее горят.

Оказалось, что эти пластинки и эти книги были конфискованы во время обысков.



— Видишь, нашли им разумное применение,— сказал весело и не без гордости Яша. Должно быть, такое использование пластинок было его собственным изобретением. Но тут же он уточнил: — Только учти. Все, что взято во время обыска, должно быть записано в протокол и сдано в ЧК — лично себе нитки нельзя оставить. — Он взглянул на грудку пластинок и добавил: — Это уж мне потом из ЧК выдали — вместо дров.

Чайник быстро вскипел. Пили без заварки, зато к кипятку были и хлеб и сало.

Когда Яша сказал, что сало привезла из деревни мать одного из его соседей, Федя смутился и перестал было есть.

— Да ты не стесняйся, ешь,— успокоил его Яша. — Мы не считаемся. Я ж тебе говорил. Это — коммуна.

Кипяток ласково разливался по телу, а на душе было так хорошо и свободно, будто выпили не горячей воды, а крепкого, обжигающего первачка — пить его Феде уже приходилось.

Коммунары не приходили. Яша сказал, что, должно быть, оба опять поехали по волостям.

После обеда (эту вечернюю трапезу Яша считал обедом) хозяин усадил гостя на свою койку — она отличалась от других тем, что над ней была прибита грубая, неотесанная полка для книг, — сам сел на койку соседа и стал рассказывать, что это такое — быть уполномоченным УЧК по борьбе с бандитизмом.

— Ты один, понимаешь, один на четыре волости. А банд развелось вокруг — все ими кишит. Твоя задача — знать, где какие действуют банды, какая у них численность, какое вооружение. И вообще ты все должен знать вокруг до мелочей.

— Как же я все это узнаю?

— Весь секрет нашей работы в том, чтоб от народа не отрываться. Будешь с беднотой заодно — справишься со своею задачей. А будешь из себя строить начальника, который с револьвером ходит и все знает сам, — и задачи не выполнишь, и погибнешь как швед под Полтавой.

Сказал это Яша и испытующе посмотрел на гостя: «Знаешь, мол, или нет, как швед погибал под Полтавой? Если не знаешь — Пушкина почитай».

Шел Федя от Яши к одной из своих нижеярских течек уже за полночь и думал о том, как ему повезло: он ходит запросто в гости к такому необыкновенному, к такому замечательному человеку, как Яша Березень.

Яша был всего только на год старше, чем Федя, но он казался Феде идеалом чекиста. Все в нем казалось Феде именно таким, как надо. И жил Яша именно так, как и должен жить коммунист. (Федя уже забыл, что рассчитывал увидеть дома у Яши письменный стол из красного дерева.)

Роста Яша был невысокого, физически казался не очень силен. Верхняя губа его была рассечена — должно быть, от рождения — надвое; Феде даже и внешность Яши казалась прекрасной.

На следующий день председатель УЧК вручал Феде мандат. На этот раз он добрее смотрел на Федею. Сказал:

— Ну, поезжай. Я тебе подписываю мандат. Ты теперь на селе наш представитель.

Феде показалось, что кто-то взял его и высоко приподнял над землей. Он задохнулся и ничего не сумел ответить, хоть и считал, что в эту торжественную минуту он непременно должен что-то сказать.

Зато Яша Березень заговорил вдруг с Федей сурово и строго:

— По тебе, Федор, будут теперь судить, что такое ЧК. А что такое ЧК? — спросил он и сам же ответил: — Для врагов это — учреждение грозное и беспощадное. А для друзей оно должно быть таким, чтобы они могли прийти к нам с любым своим делом. Не позволяй себе ничего такого, что может тебя уронить в глазах населения.

И эта серьезная строгость поиравилась Феде. Трудно было поверить, что только вчера Федя сидел на его койке и пил из его кружки. Таким и должен быть настоящий чекист. Он тебе первый друг и товарищ, а как до дела дошло — спуску не жди.

Но тут Яша стал еще серьезней, чем прежде, и довольно мрачно сказал:

— Но я хочу, чтоб ты во всем себе отдавал отчет. Знай, что не все хотят работать в ЧК. Некоторые считают нашу работу для себя неприличной. Так что ты, Федор, подумай. Пока можно еще отказаться и сдать мандат, а потом уже будет поздно.

Нет, Федя ни за что бы не согласился расстаться с мандатом, и, по правде сказать, он был даже не в силах понять, как это кто-то может отказаться от работы в ЧК.

— Чекисты — это и правда чернорабочие революции, — повторил Яша с непонятием Феде упрямством. — Но должен кто-то делать эту работу, и мы ее делаем.

Быть может, он спорил с кем-то, кого Федя не знал?

К Феде это отношения не имело.

Мандат был большой, права и полномочия, которые он давал, были огромны. Во всю страницу перечислялись права уполномоченного ЧК по борьбе с бандитизмом.

«Податель сего Федор Андреевич Панько является уполномоченным Нижнеярской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом в районе...» Дальше шло перечисление четырех волостей.

Четыре волости, а сколько в этих волостях сел и хуторов, а между селами и хуторами — широкие степи, да балочки, да посадки, и всюду могут скрываться банды, а он, Федя, один.

«Товарищу Панько предоставляется право производить аресты и обыски, производить изъятие холодного и огнестрельного оружия и подавать записки по прямому проводу в адрес УЧК».

Но все-таки с чего ж начинать?

«Товарищу Панько предоставляется право ношения холодного и огнестрельного оружия всякого рода», — говорилось дальше в мандате. «Ему также предоставляется право пользоваться обывательскими подводами и всеми другими видами транспорта».

Сколько же прав свалилось сразу на Федю! Сумеет ли он все их использовать?

Когда Федя, выйдя из каменного трехэтажного дома, в котором помещалась ЧК, остановился и тут же, на улице, стал читать и перечитывать свой мандат, на первых порах его взяла оторопь и он хотел еще раз вернуться в ЧК и еще раз обо всем порасспросить Яшу.

Но чем больше читал он и запоминал мандат наизусть, тем веселее становилось у него на душе. Оторопь уходила, и было уже несколько не жутко. Казалось, словно уже от самой этой бумаги, подписанной председателем УЧК, исходит какая-то сила, которая его сохранит и ему поможет. Длинный перечень прав и полномочий кончался такими словами:

«Всем воинским частям и советским органам предписывается оказывать товарищу Панько содействие при исполнении служебных обязанностей уполномоченного УЧК в районе указанных выше волостей».

Казалось, что с этим мандатом все уже у него в руках.

Подпись председателя УЧК получилась размашистая и не очень-то ясная (так, наверное, нужно, подумал Федя). Чернила у председателя были красные, и это тоже казалось исполненным смысла.

Федя спрятал мандат в карман своей сильно выгоревшей гимнастерки (почему-то подумав при этом, что получит сейчас новую гимнастерку), надвинул пониже на лоб не менее выгоревшую буденовку, которую носил до сих пор, и зашагал в комендатуру за обмундированием и пайком.

Никакого обмундирования в комендатуре не было и — как выяснилось — даже ему и не полагалось. «Да это и не имеет значения», — сразу смирился Федя. Были ж на нем какие-то штаны и гимнастерка, а дома у него еще оставалась австрийская шинеленка, которую мать выменяла у одного жившего на руднике военнопленного. Правда, шинеленка была поношенная, и Федя давно уже мечтал о новой — да ладно. Зиму есть в чем проходить. Зато взамен своего прежнего оружия он получил в комендатуре новенький самовзводный наган и заряд патронов к нему, да не каких-нибудь там самодельных, дающих осечку, а настоящих, фабричных патронов, густо смазанных маслом.

От Нижнего Яра до Барановки Федю подкинули на попутной подводе, а в Барановке у сельского Совета

стояла обывательская подвода из Шуровки, на которой привезли сюда фининспектора.

Было под вечер. Хозяин подводы — усатый, немолодой уже дядько — ехать не торопился.

— Лошади у меня заморились. Я поеду, пожалуй, раненко утром.

В путь отправились на рассвете. Было еще прохладно. От речки поднимался туман, из которого торчали крылья ветряных мельниц.

Дядько молча поглядывал на Федю, который поёживался в своей гимнастерке, и проявлял тактичность: не задавал никаких вопросов.

Наконец он не вытерпел: не то выразил сочувствие, не то полюбопытствовал:

— Вы без вещичек?

— Да, налегке, — неопределенно ответил Федя, не имея желанья углублять разговор.

Но дядько вдруг осмелел или просто запас его сдержанности был уже весь израсходован за те два часа, что они ехали вместе.

— Чи вы к нам надолго? Чи как? — выпытывал дядько.

Федя решил отшутиться:

— Как будете принимать.

— Какие теперь приемы!.. — Дядько развел руками. — Хлеба нет. Не уродился. Рады бы принимать, да нечем. К тому ж и порядка нет.

— А чего же порядка нет?

— Да тут всякие ездят — и верхами и на подводах.

— Что, много бандитов?

Но и дядько решил кое-что притаить.

— И много. И не много, — сказал он уклончиво. — Всяко бывает.

Федя смолчал, сделал вид, что это не интересуется его. Тогда возница зашел к нему с другой стороны.

— Куда ж вас подвезти?

— Подвезете к волисполкому, а там я и сам дойду, — снова не дался Федя.

— А где ночевать будете?

— Где поставят, там и переночую.

— О, вы городской, а дело, я бачу, знаете, — оценил его дядько и спросил уже напрямик: — Шо ж вы у нас будете делать?

- Да что-нибудь. Что все — то и я.
— И молотить будете?
— И молотить буду, если придется.
— А что ж вы можете делать у молотилки?

— Могу в барабан подавать. У паровика могу постоять за машиниста, — сказал Федя и вспомнил, что три года назад он и правда стоял у молотилки: в сельскохозяйственной школе, где он учился, учащиеся выполняли все виды деревенских работ.

— Э, паровика в селе у нас нет, — вздохнул дядько. — И в барабан подавать нам нечего.

Федя уже знал, что мужик всегда предпочитает прикинуться бедней, чем он есть, но на этот раз возница его говорил, кажется, правду или, во всяком случае, был к ней довольно близок.

Солнце уже пригрело, туман давно разошелся, стоял по-летнему жаркий, совсем не сентябрьский день. Осень была такой же, как лето, это безоблачное, бесшабашно-беззаботное лето, в жарком разгуле которого сгорали хлеба.

Кони у хозяина были не в теле, но рослые и молодые. Выморенные дорогой и, видно, не вдоволь накормленные, они не торопились.

— Кони у вас непоганные, — сказал Федя.

Подводчик, разговаривавший до этого с седоком через плечо, сразу повернулся к нему и, польщенный, спросил:

— Вы в конях понимаете?

— Я служил в кавалерии, — сказал Федя. И добавил: — Вы их, вижу, не слишком кормите, чтоб они чересчур красивыми не были. А то, чего доброго, заберут.

— О! — удивленно вырвалось у возницы. — Вы и правда в конях разбираетесь.

А Федя улыбнулся и, простим ему самоуверенность юности, подумал: «Да, наверное, и не только в конях...»

— Может, до меня заедете отобедать, — стал приглашать дядько.

— Сейчас не могу, а потом я у вас побываю.

Наконец въехали в Шуровку.

На углу первой же улицы стояла аккуратно выбеленная хата с голубыми наличниками и с низом, выкрашенным синею краской. Кони сами остановились у этого

дома, и уже навстречу подводе шла немолодая, располневшая женщина — должно быть, жена хозяина.

— Ладно, лошади пусть отдыхают, — решил Федя. — Вы мне покажите, где волость. Я и пешком дойду.

— Теперь я вижу, что вы настоящий кавалерист, — с чувством сказал дядько. — Кто так коня жалеет!..

Федя махнул ему на прощание рукой и пошел, услышав у себя за спиной, как хозяин хвалит его жене.

— Вот челоэк! — донеслось до Феди.

Уже в дороге Федя заметил, что дядько кое-какие слова выговаривает по-своему: «Вот челоэк!»

Это звучало у Феди в ушах всю дорогу, пока он шел в волисполком.

Он был доволен своим тактичным разговором с женщиной.

2

В волисполкоме уполномоченного ЧК встретил секретарь волисполкома Сорока — никого другого на месте не оказалось.

Это был совсем молодой еще парень, чернобровый, голубоглазый — настоящий украинец; усы у него только пробивались, он, как видно, их пока ни разу не брил, должно быть, жалел. Он был улыбчив, приветлив и этим сразу понравился Феде.

Взглянув на мандат, Сорока сказал:

— О, вас нужно поставить в солидный дом! Может, к отцу Вавиле? Там культурно и чисто. Против не будете? Можно коммунисту у священника жить?

Он простодушно взглянул на Федю, ожидая ответа.

Федя и сам не знал, можно ли ему жить у священника. В первый момент у него мелькнуло: надо бы Яшу Березня об этом спросить. Подумав, он решил, что, наверное, можно. Ведь не с попом воевать он приехал сюда.

Сорока достал из стола лист розовой писчей бумаги в синюю линейку, хотел написать записку, но передумал и сам проводил Панько до дома Вавилы Лозы.

Дом батюшки был крепкий, кирпичный, с вишневым садом, недалеко от церкви.

Навстречу гостям — с удивительной легкостью для своей полноты — вышла из дому матушка, рослая, моло-

жавая и, кажется, добродушная женщина лет под пятьдесят.

— До нас? На квартиру? — спросила она с любопытством.

— Да, — ответил за Федю Сорока.

— Ну хорошо, живите.

Она повела Федю в дом. В доме были две свободные комнаты, просторные, чистые. В одной стоял письменный стол.

— Вот, пожалуйста, занимайтесь, сколько вам надо. Сын мой уехал, — сказала матушка.

В это время в дом вошел сам отец Вавила, только что вернувшийся после обедни; шаги его Федя услышал еще с веранды. Шагал батюшка важно и грузно — это, должно быть, выработалось у него за годы церковной службы, но сам, к удивлению Феди, оказался шупленьким, маленьким старичком, куда как уступавшим матушке статью.

Из-за спины хозяина выглядывала светленькая, голубоглазая девушка с голубыми крыльями за спиной — Федя только потом разобрал, что это ленты, вплетенные в косы, завязанные большими бантами, — в голубом, совершенно воздушном платье. Черты лица у нее были тонкие, нежные, а косы почти такие же, как у Нины Поречной. Удивительно, почему так случилось, но Федя давно заметил, что все красивые девушки чем-то обязательно походили на Нину Поречную.

Отец Вавила поздоровался с гостем, потом обернулся, кашлянул — девушка испуганно метнулась назад и куда-то исчезла.

Хозяин повел гостя в столовую, усадил на широкий старинный диван, завел с ним разговор о Шуровке и о сельской жизни вообще, показав себя человеком, осведомленным в политике.

Ночью Федя слышал за стеной взволнованный шепот матушки: должно быть, хозяйку все-таки беспокоило присутствие в доме незнакомого человека.

Утром на веранде опять показалась вчерашняя девушка — только уже не в голубом, а в сиреневом. Снова отец Вавила закашлял, и она снова исчезла.

Паек свой Федя отнес к дядьку, с которым доехал. Встретил его дядько, как старого приятеля, искренне был

обрадован и даже польщен. Договорились, что тут Феде будут готовить.

Никто Феде не говорил о границах, которые ему надлежит соблюдать в доме отца Вавилы, но он уже эти границы знал.

Через несколько дней матушка успокоилась. Федя это почувствовал. Наташа, дочка отца Вавилы, была славной дивчиной. Но она была дочь попа, и ничего между ней и Федей быть не могло. Иногда украдкой Федя все же поглядывал на нее, но держал себя с ней так же, как с матушкой, — вежливо, спокойно и ровно, как с гостеприимной хозяйкой. Отец Вавила больше не кашлял, когда дочь его появлялась на веранде или в столовой в присутствии Феде, а матушка от души приглашала Федю к вечернему чаепитию с собственным медом, с домашним вареньем. Федя всегда находил предлог, чтоб отказаться, не обидев хозяйку.

Скоро в Шуровке стало известно, что уполномоченный ЧК — человек солидный, самогону не пьет и на девчат не смотрит.

В доме батюшки восстановилась та годами отстоявшаяся размеренная, спокойная жизнь, которая здесь текла до появления молодого чекиста, — он ничему тут не помешал.

А у самого Феде Панько жизнь пошла еще тревожней, чем прежде: всегда на коне, всегда с чувством, что за тобою охота и что ты на охоте, хотя и врага пока не было видно. И врагов и друзей предстояло еще найти.

3

Шуровка — это небольшие, тщательно побеленные домики с огоньками герани на окнах, это зеленые переулки и пыльные проезжие улицы с курами, копающимися в дорожной пыли.

Посередине Шуровку прорезает неглубокая балка, идущая вдоль селения. По дну балки течет извилистая, неторопливая речка, вся в зарослях осоки, кое-где тронутая зеленой ряской, затененная с берегов вербами и ольхою.

К речушке с обеих сторон спускаются огороды с подсолнухами на страже, с коноплей, с кукурузой, а за ни-

ми снова домики и крылья плещущегося на ветру белья, отстиранного до такой белизны, что она слепит.

Тихая, размеренная, спокойная жизнь — казалось бы, что в ней делать уполномоченному ЧК, кого искать?

Но где-то под этими крышами скрываются хлопцы, приехавшие на ночь домой отдохнуть от той беспокойной жизни, которую они избрали себе. Мать подложит им самую мягкую в доме подушку, на стол им поставят самое лучшее, что есть в доме. И среди мирно вывешенного белья совершенно открыто, ничуть не таясь, заполочутся по ветру рубахи казаков — как их называют атаманы в отряде, бандитов — как их по праву зовет Федя Панько: то на кооперацию налетели — разграбили полотно, привезенное только вечером, то в соседнем селе зарубили семью активиста. И не только в самых богатых домах нужно искать этих хлопцев. Нет, вовсе нет.

Во главе шуровской банды бывший учитель шуровской школы Сергей Сергеевич Андриюшенко. Атаманом сейчас здесь считается Кныш, но кому тут быть атаманом — это решает учитель, он здесь всему душа. Когда-то, когда эти сегодняшние хлопцы были детьми, он умел на уроках рассказать им об их родной Украине, о Запорожской Сечи и о казацкой вольнице. Умел учитель после уроков взять в руки гитару и запеть добрую украинскую песню, и ребята готовы были пойти за ним и в огонь и в воду.

Время настало, и учитель создал отряд «Вильного казачества», а за ним потянулись хлопцы, порою даже из бедных семей. В годы гражданской войны Андриюшенко стал убежденным петлюровцем и его хлопцы поверили, что, пусть даже многим из них дали землю, Украину у них все же хотят отнять.

Кто хотел у них отнять Украину? Как можно было ее отнять? Где была она, та самостийная Украина, ради которой они шли умирать? Кто будет в ней править и что лично они в ней получат?

Вряд ли они ответили бы на эти вопросы.

Федя-то знал по себе, как трудно во всем этом разобраться. Как-то, еще до ухода Феде в Красную Армию, на рудник, где он жил, ворвался отряд махновцев, был среди них и школьный товарищ Феде — Гришка Холщеников. «Айда с нами белых бить!» — крикнул он на ходу, только увидев Федю. Федя бросился домой огородами.

«Мама, вяжи мне узелок на дорогу, я с Холщевниковым иду». — «Так он же махновец», — встал с места отец. «Ну и что ж? Они — против белых!» — «Сядь! — жестко сказал отец, всегда мягкий с детьми. — Сядь и посиди, пока голова твоя не остынет. Знаю я, как они с беляками воюют. Им первое дело — пограбить». Хорошо иметь такого отца, и не всякому в жизни такое счастье. Федя Панько не мог этого не понимать...

Но приезжали из банды отоспаться и отстираться и в кулацких домах: эти-то хлопцы лучше знали, за что пошли воевать.

Когда они приезжали? Кто видел их?

Они были как дым...

Много верных и надежных людей должен был здесь найти себе Федя Панько, чтобы проникнуть в эту ночную тайную жизнь, скрытую от постороннего глаза.

А вот просвещенные люди Шуровки...

Их тоже должен понять уполномоченный УЧК.

На главной площади Шуровки в небольшом угловом домике размещена аптека. Аптекарей — Наума Борисовича и Берту Ефимовну — в Шуровке уважают и ценят. Если нужно, они дадут порошки и микстуру в долг, если нужно, и вовсе бесплатно. Бывает, лекарство заказано, а за ним никто не приходит. Берта Ефимовна сама идет проведать больного. Что случилось? Лучше больному? Не лучше? Может, требуется что-то еще, а нечем платить?

Это были терпеливые, тихие люди, готовые к любому повороту судьбы. Какая бы беда на них ни свалилась, Берта Ефимовна всегда говорила: «Что же... Значит, уж так...»

Не трогали их и бандиты — и они нуждались в лекарствах.

Аптека обычно не закрывалась ни днем ни ночью, в любое время сюда можно было зайти. Лишь только звенел колокольчик над дверью, аптекарь, проснувшись, в ночном халате выходил к запоздалому гостю.

Случалось, сюда забегал человек, залитый кровью. Кто бы он ни был — бандит или вчерашний красноармеец, — ему делали перевязку молча, не задавая вопросов, если видно было, что так пострадавшему лучше. Говорили, сюда заезжал в прежние годы сам атаман Клещ. Требовал спирту, а если не было спирту — пил валерьяновую настойку.

А за кого же на самом деле были аптекари?

Не сразу раскрылось это Феде Панько.

Аптека в Шуровке была средоточием светской жизни шуровской интеллигенции.

Частенько по вечерам сюда приходил поиграть в преферанс Федин хозяин — почтенный Вавила Лоза, не гнушавшийся обществом некрещеных людей.

Отец Вавила был начитан и, как видно, не глуп. Он любил в беседе с аптекарем вспомнить историю Украины, поговорить об украинской музыке и литературе и даже слегка затронуть политические вопросы. Аптекарь в его присутствии охотно играл на скрипке.

Составлял им партию в преферанс и Филимон Передерий, шуровский фининспектор, муж фельдшерицы Любови Ефремовны, работавшей в местной больнице. О нем говорили в Шуровке: он и медом угостит, и дегтем помажет — такой это был человек, смотря по обстоятельствам, и льстивый и грубый. Участия в ученых беседах батюшки и аптекаря он, конечно, не принимал, но игрок был отличный, и как партнера его здесь ценили.

Берта Ефимовна ставила на стол славно разделанную селедочку, домашнюю настойку, которая была не крепче, чем нужно, еще кое-какую закуску. Гости воздавали должное гостеприимству хозяйки, и игра начиналась. Если четвертого партнера не было, игроков выручала сама Берта Ефимовна, но чаще кто-то еще заходил на огонек к аптекарю.

Пулька притягивала сюда и докторов. У аптекарей бывал врач Голубовский, заведовавший шуровской больницей. Это был типичный интеллигент довоенных времен: с правильным бледным лицом, с бородкой, в пенсне на черной тесьме, в строгом темном костюме — костюм был довольно потерт, но тщательно отутюжен.

Приходил сюда и ветврач Лихояр, смешливый, разговорчивый человек, балагур. Он был не прочь сыграть в преферанс и провести вечер среди почтенных людей, но дома у себя он собирал народ попроще и повеселее. Еще молодой — ему едва минуло тридцать пять, — он не отказывался выпить чего-нибудь покрепче, чем настойка Берты Ефимовны, играл на баяне, умел сплясать, умел спеть удалую песню. Семьи у него пока не было. Он не раз приглашал Федю к себе: «Ты приходи, самогону попьем, с девушками посидим». Федя почему-то не шел,

хотя, может, и стоило ему сходить как-нибудь к вет-врачу.

На вечерах у аптекаря Федя никогда не бывал, но батюшки, аптекаря и докторов не чуждался и потому имел представление о сборищах у Черняков. Но что действительно представлял собой каждый из этих людей, он, конечно, не знал.

— Кто тут друзья? И где тут враги?

Только время могло ответить на эти вопросы.

4

В прокуренной комнате волисполкома, не зажигая лампы, хотя уже сильно стемнело, сидят Демченко и Ковальчук, секретарь волостной ячейки и председатель комбеда. Они курят папиросу за папиросой фабрики «Карл Маркс», которыми их усиленно угощает уполномоченный УЧК.

Ковальчук — огромный, широкоплечий, в недавнем прошлом кузнец, с красным, словно навсегда загоревшим у горна скуластым лицом. На нем поношенное рыжее полупальто, наверное полученное им после какой-нибудь конфискации, с большими накладными карманами, куда он прячет свои тяжелые потемневшие руки. Над карими, живыми, всегда смеющимися глазами сошлись густые, мохнатые брови.

Говорят, Ковальчук отличный кузнец, но он ничего не нажил себе: все пятнадцать лет своей трудовой жизни простоял у чужого горна. Теперь на выселках он получил надел, отрезанный от панских земель; вместе с женой они замесили лампач — солому и глину — и построили хату: хватит уж жить по чужим углам; только жена простудилась во время постройки, слегла и лежит до сих пор. На Ковальчуке, помимо всех дел по комбеду, еще и трое ребят.

— Ничего, — говорит Ковальчук. — Старшему десять лет. Он у меня за хозяйку.

Вспомнив что-то, Ковальчук смеется уже одними только глазами.

— Знаешь, кто меня пожалел в беде? — спрашивает он уполномоченного ЧК. — Ну, чекист, отгадай...

Но чекист отгадать ничего не может. Здесь, в Шуровке, на каждом шагу загадки...

— Ладно уж, слушай...

И Ковальчук рассказывает, как на днях к нему пожаловал гость — Мыкола Синичный.

— Он такая же голь, как и я, — говорит Ковальчук, — а пришел, видишь ли, и сразу с порога: «Я к тебе, мол, от самого Буряченко». А я ему: «О, це ты гость дуже важный. Куда ж я тебя посажу? У меня и стульев нема».

Ковальчук рассказывает, с чем пришел к нему Мыкола Синичный и что он, Ковальчук, ответил ему. Оказалось и верно, Синичного прислал Буряченко — первый кулак в округе. Забеспокоился вдруг Буряченко, как Ковальчук с семьей теперь будет жить — землю-то получил, а чем станет пахать?.. Чем станет сеять? Решил Буряченко помочь Ковальчуку...

Ковальчук выслушал гостя и рассмеялся: «Это обо мне у Буряченко боль? Других забот у него, что ли, нет?» Синичный стал его убеждать: «Сдохнешь ты без Буряченки! У тебя ж трое детей». Ковальчук ему: «Я не один, у меня супруга». Гость не отстает: «А с кем будешь спрягаться? И у соседей — ни коня, ни семян». Ковальчук ему: «У меня — комбед». А гость: «Та неизвестно еще, чий верх-то будет».

Дошел Ковальчук в своем рассказе до этого места и крепко выругался:

— Вот погана людина! Буряченко, тот хоть виден — кулак. Этот же — нищая сучка, а ходит, мутит людей. Без отдачи, мол, Буряченко хочет тебе помочь лошадьми и зерном. Тут я смекнул: значит, отдача должна быть совсем другая! Говорю ему: «Передай своему Буряченке — Ковальчука вин не купэ. Не продается. Хай мои диты трошки поголодают — здоровше будут».

Весело, со вкусом рассказывает Ковальчук, а у Федя почему-то ноет душа.

Потом Ковальчук достает из кармана пальто смятую бумажку, бросает ее на стол:

— Вот, уполномоченный, разбирайся. Это мне после того разговора подкинули.

Федя зажигает фитиль большой керосиновой лампы.

Безграмотными каракулями на листке нацарапано: «Если Ковальчук и далее будет делать то, что он сейчас

делает, диты его останутся сироты». Вместо подписи нарисован череп.

Федя вглядывается в листок. Кто написал это? Буряченко? Синичный? Или другой кто? От себя грозит человек или связан с бандой?

А Демченко молча лезет в карман и достает другую бумажку. На этой бумажке написано, чтоб Демченко убирался туда, откуда пришел, не то будет плохо.

Демченко приехал в Шуровку из Нижнего Яра на три месяца раньше, чем Федя. Прислали его секретарем волостной комячейки, а коммунистов в Шуровке не было. За это время он успел создать волостную ячейку: коммунистами стали председатель волисполкома, председатель комбеда, военком, учитель и солдатская вдова — секретарь земельной комиссии.

Демченко — скромный, сдержанный, внешне ничем не примечательный человек, в прошлом учитель. Говорит он немного, но Федя чувствует какую-то железную связь между всеми его словами. Федя еще не знает, что эта связь называется логикой, но он дорожит возможностью поговорить с Демченко: Демченко все понятно и ясно, так, во всяком случае, кажется Феде. Но вот кто пишет такие записки, как разыскать и обезвредить этого автора, это, как видно, и Демченко не очень-то ясно.

Федя смотрит на двух этих людей, единственных, в ком он здесь, в Шуровке, уверен так, как в себе самом. У Ивана Ковальчука глаза блестящие, веселые, всегда над чем-то смеются. У Демченко глаза хоть и светлые, но печальные и не прозрачные, словно стоит в них до самого дна забота.

— Я соединюсь по проводу с УЧК, — горячится Федя. — Они тут совсем обнаглели. Буду просить сюда конный отряд.

Демченко осаживает его:

— Ты подожди. Что будет делать отряд? Ты ж ничего не знаешь пока.

Да, это верно. Он ничего не знает. Что будет делать отряд?

Нет, видно, одного мандата тут мало.

Вот и мандат в кармане, а все остальное еще совсем не в руках...

С утра Федя шел в исполком. Здесь начинали свой день Демченко и Ковальчук, здесь вечно толпился народ, сюда стекались все вести, сюда приводили, а то и приносили голодных детей, которые добрели до этих краев.

Что было делать с ними?

Подростков устроивали на работу к зажиточным хуторянам и следили за их судьбой, ребятишек помладше отдавали в детские дома или желающим на воспитание.

А бывало, в волисполком приносили холодный маленький трупик — не дойдя до селений, дети падали на дороге.

Люди знали, что по утрам в волисполкоме всегда можно найти уполномоченного ЧК, если только он не уехал в соседнюю волость. Порой на его имя сюда приносили записки: «В Захарьевке замучили бандюки. Прошу вас обратить внимание. Сам пока принимаю меры».

Федя вскакивал на коня и мчался в Захарьевку, разыскивал автора этой записки, завязывал знакомство по селам, шел по следам...

Конь у него был надежный, хоть уже и не Ласточка. Ласточка осталась в отряде; теперь Федя ездил на трофейной Зойке. Это была рыжая кобыла с сильными сухими игонами в белых чулках, чуткая и послушная.

Банда была пока неуловима. Села жили как на вулкане: тут пожар, там убийство, а виновные безнаказанны.

Федя ни разу еще не связался по прямому проводу с УЧК — у него не было пока ничего значительного для сообщения Яше. Порою его охватывало отчаяние: время идет, а нет никаких перемен.

Федя проезжал над оврагами, где в засадах сидели бандиты с твердым заданием уничтожить чекиста. Но пока беда миновала его: то рука у кого-то дрогнула — подумал, наверное, о доме, — то Федя ехал не там, где его ждали.

Бывало и так: прежде чем въехать в деревню, Федя постучит в окно крайней хаты, не слезая с коня:

— Хозяйка, нельзя ли воды напиться?

Это верный способ начать разговор и что-то узнать.

Выглянет из сеней молодуха, сунет ковш, торопливо скажет:

- Дальше ехать нельзя. Опасно.
— А откуда ты знаешь, кто я такой?
— Знаю.

Улыбнется и быстро захлопнет дверь.
Значит, нельзя.

С чекистами бандиты расправлялись особенно зверски. На полустанке Марьино двух молодых чекистов бросили в котел с кипящей водой.

К себе, то есть к отцу Вавиле, Федя заходил только днем: здесь была его «резиденция»; здесь могли найти его люди. Никакой канцелярии уполномоченный ЧК не имел, документов никаких не хранил — все держал в голове, а чтоб лишним голову не забивать, на завтра ничего не откладывал: подумал — и сразу сделал. Он ничем не был связан, в любую минуту мог оседлать свою Зойку.

Обедал он у того самого дядьки, что привез его в Шуровку, и всегда в разное время — горшок щей ждал его в печке, а спал почти каждую ночь в новом месте; потому он и был неуловим для банды. Никто, кроме Демченко, не знал, где он заночует сегодня.

В любой хате мог среди ночи раздаться его осторожный стук.

- Кто?
— Свои.
— А, добре, зараз отчиню.

С крыльца слышно, как хозяин босыми ногами ступает по полу, как щелкает засов и открывается дверь. В проеме двери появлялся хозяин в белых подштаниках, пропускал запоздалого гостя; где-то начинала лаять собака, где-то выглядывал в окошко разбуженный лаем сосед, но уже ничего не было видно.

Случалось стучаться и в дома самых отъявленных кулаков.

— Смотри, если волос с моей головы упадет — тебе отвечать, — предупреждал он хозяина.

- Боже ж мой, а зачем ему падать?

Такой хозяин сам стелил на кровать перину и сам всю ночь стоял на часах у дома, чтобы не заскочил ненароком сын со своими хлопцами из отряда: они беды натворят и хозяина выдадут. А было однажды: хозяин не уследил, влетели на хутор бандиты и среди них — старший хозяйский сын. Хозяин успел помочь гостю влезть на чердак, вышел навстречу беде; гости уже зашли в конюшню, уви-

дели расседланную лошадь уполномоченного и сразу узнали Зойку — была она, как видно, известна в округе.

Хозяин уверил их, что уполномоченный ушел куда-то в деревню.

— Ладно, пусть его, — пораздумав, решил сын. — Коня мы ему оставим, иначе за него всех твоих коней да и тебя самого заберут, а за седлом нехай до нас приезжает.

Федя слышал, как хозяин упрашивал сына и его спутников:

— Не берите коня, не берите седло, самого не шукайте. Бо я пропал.

Старика пожалели: уехали, так ничего и не тронув.

Да, в таких домах можно было порой спокойно уснуть.

6

С утра у волисполкома переминался с ноги на ногу долговязый парень в огромной шапке, сползавшей ему на глаза. Он то подходил к крыльцу и даже подымался на ступеньки, то отходил в сторонку и тоскливо смотрел на людей, заходивших в дом.

У волисполкома всегда толпился народ, но, подойдя к крыльцу, Федя почему-то заметил этого парня.

Войдя в помещение, Федя подвел Ковальчука к окну:

— Хлопца того знаешь?

— Знаю. Вдовы одной сын.

Время от времени Федя поглядывал за окно. Он был уверен, что парень пришел сюда неспроста, но боялся его спугнуть.

Наконец тот, как видно, принял решение: дверь распахнулась, он тяжело, неловко переступил порог и направился прямо в сторону Феи.

Теперь Федя уже совершенно точно знал, что услышит сейчас что-то серьезное.

Он пошел навстречу и, поравнявшись с парнем, неожиданно для себя спросил:

— Откуда у тебя такая богатая шапка?

— Це батькова.

— А где он?

— Та на войне пропал.

В волисполкоме былолюдно и шумно — каждый шел сюда с каким-то своим неотложным делом. Федя зашел

с парнем в комнату Демченко, где никого в это время не было, и прямо спросил:

— А что ты хотел мне сказать?

— Я вам хотел сказать, что у соседки сын в банде, должно быть.

— Откуда ты это знаешь?

— Он приезжает домой.

— Ты видел сам?

— Нет, сам я не видел. А с чего бы она в воскресенье стала белье стирать? Как он приедет — так подштанники за хатой висят.

— Когда же он приезжает?

— Да как когда. Но почти что каждую неделю, и чаще — под воскресенье.

— А в засаду с нами пойдешь?

— Ни. Они мою хату спялят.

— Ну, тогда покажи, где он проезжает. Да чтобы никто не видел.

Договорились, что вечером, когда стемнеет, он покажет, где проезжает сосед.

Дом, в который должен был приехать бандит, стоял на углу. Парень сказал Феде, что сосед его проезжает не улицей, а переулком, а чтобы попасть в переулок, едет по оврагу, берегом речки.

Здесь, в овраге, в том месте, где бандит должен был свернуть в переулок, у плетня его собственного огорода, спускавшегося к оврагу, под воскресенье решили устроить засаду.

С Федей в засаду пошли Ковальчук, начальник милиции и кое-кто из актива — всего пять молодых вооруженных людей.

Лежали в засаде долго. На востоке уже темнота разрядилась, потеряла свою густоту и поднялась повыше, обозначился горизонт и полоска неба над ним стала сначала сереть, а потом и светлеть.

Только хотели уж было подыматься и идти по домам, где-то заржал конь; ему ответил другой.

Один за другим вдоль реки ехали два всадника.

Когда они поравнялись с засадой, Федя крикнул:

— Стой! Кто едет? Слезай с коней!

Всадники пришпорили коней и повернули обратно. Кто-то из них выстрелил. Ему ответили сразу из трех

винтовок. Один конь взвился и перешел на галоп, другой неловко переступил с ноги на ногу и внезапно рухнул.

Раненого всадника обезоружили, но он оказался не тем, ради кого устраивали засаду. Когда его привезли в больницу и Федя Панько взгляделся в его лицо, совсем еще молодое, на котором только-только начинали пробиваться усы, в его прикрытые темными ресницами голубые глаза с непролитой, но остановившейся в них, словно застывшей слезой, в его натруженные — бессильные сейчас — руки простого деревенского парня и в потрепанную одежку, что-то дрогнуло в нем: и это бандит?

Врачу Голубовскому был дан строгий наказ: любой ценою спасти этого человека.

Голубовский осмотрел раненого, покачал головой и ничего не пообещал: это было серьезное ранение грудной клетки, с кровоизлиянием в полость легких.

Несколько дней после операции Федя не приступал к допросу: раненый приходил в себя редко и ненадолго. Поставили на ноги всю медицину Шуровки: от аптекаря то и дело требовали новых и новых лекарств, ему пришлось ездить за ними в уездный центр. Врач Голубовский в течение дня почти не выходил из палаты, а фельдшерица Любовь Ефремовна оставалась на ночное дежурство. На рассвете ее сменял фельдшер больницы — старичок Аверьянов.

Когда Федя вошел наконец в палату, чтобы начать допрос, раненый был растерян и не знал, как держаться. Он был взволнован, тронут заботой, но он не хотел быть предателем. Федя его понимал, но должен был — должен был, чего бы это ни стоило! — получить необходимые сведения о банде. Это был первый захваченный им бандит. Яша Березень требовал, чтобы допрос состоялся в ЧК в Нижнем Яру, и безотлагательно, а Федя каждый день находил причины убедить Яшу, что еще не пришло время для отправки раненого. То ли ему жаль было трогать раненого — переезд мог быть опасен для его жизни; то ли ему самому хотелось провести свой первый допрос и сообщить в УЧК что-то особенно важное. Должно быть, имело значение и то и другое.

Но как теперь подступиться к этому парню? Кулацким сыном, конечно, он не был, но ради чего-то все же пошел он в банду.

Никакого плана у Феди не было, но получилось, что он не расспрашивал, а рассказывал сам, вспоминая бои, в которых он и этот парень могли быть, наверное, оба. Федя с ним говорил так, как если б они вместе были в этих боях, совсем не касаясь того, что они были хоть и в одних боях, но по разные стороны.

Это не было заранее выбранным, продуманным до конца приемом — так сам собой сложился этот необычный допрос.

Когда речь зашла о бое под Ивановкой, Федя спросил:

— Много вы там потеряли?

— Друг мой там ранен, — ответил уклончиво Алексей — так звали задержанного.

— Кто он?

— Сокол по кличке.

— А как его имя?

— Мы не знаем настоящих имен друг друга.

— А ты кто по кличке?

— Я — Соловей.

— Что ж у вас птицы одни собрались?

— А мы и летаем с места на место как птицы, — слабо улыбнувшись, сказал Алексей.

— Что верно, то верно, — согласился с ним Федя. — Только не соловьи вы и не соколы, а коршуны, ястребы.

Но, взглянув на парня, лежащего перед ним, Федя подумал: этот-то меньше всего походит на хищника, и не потому только, что он сейчас ранен: во взгляде его было что-то наивное, незащищенное, такое, что в нем было, очевидно, всегда.

— Где ж теперь этот Сокол? — продолжил Федя начатый разговор.

— Я отвез его к родичам.

— Куда?

— В Яблунец.

— О, это село хорошее. У меня был товарищ оттуда, я там всех почти знаю. Где ж там его родные живут?

— В крайнем доме, если ехать от станции, дядя у него по отцу.

Алексей спохватился, что сказал больше, чем нужно, и замолчал. Через какое-то время он впал в беспамятство, да и в полном ли сознании был он во время этого разговора?

Ничего другого получить от него не удалось. Теперь, когда он приходил в себя, он упорно молчал.

Федя решил немедленно ехать на поиски Сокола, поручив врачу и фельдшеру заботы о раненом. Рано утром он выехал в Нижний Яр, чтобы доложить там результаты допроса и получить разрешение на выезд в село Яблунец. Правда, результаты допроса были весьма скромные, все же Федя надеялся, что его похвалят в ЧК.

— Что захватили бандита живым, это, конечно, неплохо, — сдержанно сказал заместитель председателя УЧК, — но допрашивать, Панько, ты не умеешь. Ничего существенного он тебе не сказал.

— Он часто теряет сознание, — оправдывался Панько.

— А ты допрашивай его, когда он не теряет сознания.

— Это редко бывает.

— Вот ты и лови момент. Бери его, как говорят, за душу.

Яша Березень — он и привел Федю к заместителю председателя — вдруг решительно возразил:

— Панько делает правильно. Он и взял этого парня за душу своею заботой. Такой подход себя оправдал, и мы уже имеем отдачу.

— Что ж это за отдача? — возмутился зампред.

— Нам известно, где лежит еще один бандит. А это немало.

Зампред задумался, а Яша Березень продолжал:

— Давайте примем предложение Панько. Пусть он поедет за этим Соколом. Только одного его посылать нельзя. Нужно дать ему в помощь сотрудника нашей ударной группы.

— А не лучше ли, чтоб Панько был при сотруднике нашей ударной группы? — недовольно заметил зампред.

— Нет! — с жаром ответил Яша. — Это не лучше. Федор захватил этого бандита, Федор получил от него показания, пусть он и до конца доведет это дело.

Заместитель председателя слушал Яшу, кажется, без особого удовольствия, но потом оказалось, что он во всем с ним согласился.

Дорога шла через места, знакомые с детства. Вот уже показались на горизонте три вяза. За этими вязами, Федя помнил, от развилки дорога поворачивала на Бояр-

ково, а за Боярковым рукой подать было до Яблунца. Перед вязами от дороги отбегала тропинка, поднимавшаяся на холм. За этим холмом стояла школа, в которой когда-то учился Федя.

Федя поколебался и повернул коня на тропинку, а у здания школы попросил товарища его обождать.

Время было, конечно, дóрого, но и слишком велик был соблазн явиться к своему учителю Артему Петровичу боевым чекистом с огромным маузером в деревянной коробке.

Шел урок, и Федя минут двадцать ходил по коридору; наконец прозвенел звонок, и из класса вышел Артем Петрович, точно такой, каким его Федя помнил; в тех же черных очках, которые делали его серьезным и строгим и прятали от ребят его понимающие глаза.

Федя шагнул навстречу ему и отчеканил громко, торжественно, будто отдавал воинский рапорт:

— Здравствуйте, Артем Петрович!

— Это ты, Панько? — сказал Артем Петрович. — Уж не арестовать ли ты меня пришел с таким большим пи-столетом?

Темный ус его дрогнул; Федя помнил: это значило, что он сдерживает улыбку.

— Что вы, Артем Петрович, я пришел вас навестить. — Федя смутился и сдвинул маузер за спину, чтобы его больше не было видно, но деревянная коробка все равно торчала из-за спины.

— Спасибо тебе, что ты меня вспомнил, но можно было и не вооружаться так, когда идешь в свою школу.

Федя стал объяснять Артему Петровичу, что он работает в УЧК и не имеет права расставаться с оружием.

— Бывает опасно? — спросил Артем Петрович.

— Да, — сказал с гордостью Федя.

— Ты был, Федя, хорошим парнем, когда учился, — сказал Артем Петрович задумчиво. — Я надеюсь, ты никогда не употребишь это оружие зря.

На школьном дворе Федя вскочил на коня, чувствуя, что Артем Петрович из окна коридора смотрит ему вслед.

Теперь он перетаскивал маузер со спины вперед и отчего-то ему было неловко и стыдно. На этот раз Федя был недоволен собой, хотя вряд ли смог бы сказать, в чем он себя обвиняет.

К счастью, у него было слишком много забот, чтобы долго задерживаться на том, что не имело отношения к делу.

Выехав за ограду школьной усадьбы, он подхлестнул коня, и мысли его уже целиком принадлежали тому, что ждало его в Яблунце.

Они приехали в Яблунец под вечер. Еще дорогой решено было коней оставить в сельсовете, а за Соколом пойти, когда вовсе стемнеет.

Хата, в которой, по словам Алексея, должен был находиться Сокол, стояла несколько на отшибе.

— Ты оставайся пока под окнами, а я войду, — сказал Федя товарищу. — Если начнется стрельба, тогда выручай.

Вынув маузер из кобуры, Федя распахнул дверь, быстро прошел в сени и с порога спросил:

— Сокол у вас?

В хате не было света; мужчина и женщина сидели у окна, за столом, но лиц их не было видно. Ему не ответили.

— Сокол у вас? — повторил Федя. — Я от Соловья.

— Каганец, дядя, зажгите, — сказал кто-то из глубоких комнат, и Феде показалось, что он этот голос когда-то слышал. Он подошел ближе к кровати.

Искали каганец, о чем-то шептались; когда зажгли наконец свет, Федя увидел, что в углу на кровати лежит перевязанный человек.

Он взглянул на Федю, быстро сунул руку под подушку. Должно быть, хотел выхватить оттуда оружие, но не успел — Федя отвел его руку назад, нагнулся к нему и сказал изумленно:

— Онисько, ты? Черт бы тебя побрал...

— Я, — ответил раненый, стараясь освободить руку. — Я уже слышал, что ты стал чекистом.

— Да успокойся ты, — сказал Федя, отпуская его руку. — Что ты меня пугаешь.

— И у тебя оружие.

— Ну хорошо, гляди.

Федя взял из-под подушки наган и положил его рядом с каганцом на стол, а свой маузер спрятал в коробку. Он еще раз посмотрел на того, кто лежал на кровати. Да, это был Онисько, Онисько Донец, старый школьный

товарищ Феде — когда-то они не только вместе учились, но вместе жили в интернате при школе, и койки их стояли одна возле другой... Вот ведь как это случилось!..

— Так вот ты, Сокол, какой, — сказал Федя и сел рядом с кроватью на табурет. — И сильно ранен?

— Уже идет на поправку.

— А помнишь, как мы с тобой спали рядом? И мерзли вместе. А теперь ты петлюровцем стал?

Онисько молчал.

— Знаешь, я по дороге сюда к Артему Петровичу заезжал, — вспомнил Федя.

— Ну и как он? — встрепнулся Онисько.

Федя неожиданно для себя, словно кто-то его подтолкнул, сказал то, чего не было:

— Про тебя, Онисько, он вспомнил. «Теперь, говорит, Онисько наш в Червонной Армии где-нибудь». Так как же все это, Онисько, случилось?

— Так вот и случилось, — хмуро сказал Онисько. — Долго рассказывать.

— Они ж хутора свои защищают. А у тебя нет ничего.

— А я — Украину.

— Ох, Онисько, эту песню я уже слышал... Не знаешь ты, от кого защищать Украину...

— Да кто теперь знает?

Они замолчали.

— И ты мог меня убить! — вслух удивился Федя.

— И ты меня мог.

Разговор снова остановился.

— Может, хозяйева пойдут погуляют куда, — предложил Федя. — Мы с тобой поговорим еще.

Онисько сделал рукою знак. Хозяин и хозяйка, перекрестившись, вышли из комнаты.

Когда Федя и Онисько остались одни, Федя с табурета пересел на кровать.

— Ну, Онисько, теперь, если встретимся, сможешь в меня стрелять?

— Нет. Не смогу.

— И я не смогу.

В это время за хатой раздался окрик:

— Стой! Кто идет?

— Это мы, хозяйева, — ответил перепуганным голосом дядя Ониськи.

А женщина запричитала:

— Господи твоя воля! Що ж это делается на свити!

Федя понял, что это его товарищ задержал выходявших из дому.

Он подошел к двери и крикнул:

— Оставь их! Иди сюда!

— Сколько же вас пришло сюда за одним раненым? — спросил Онисько насмешливо, глядя на спутника Феде, вошедшего в дом.

— Только двое, — улыбаясь, ответил Федя.

— Давай поговорим с глазу на глаз, — попросил его Онисько.

— Нет, не могу, — ответил Федя, подумав. — Пусть будет свидетель. Так лучше и мне и тебе. Это тоже чекист, от него никто ничего не узнает.

Он пододвинул своему спутнику табурет, а сам опять сел на кровать к Онисько.

Каганец еле коптил, освещая только небольшой кружок под собой на некрашеном, ничем не покрытом столе, тьма, казалось, сняла в доме углы и края; так же когда-то сумерничали они по вечерам в интернате.

— Давай лучше, Онисько, подумаем, что нам с тобой делать теперь? Будем биться? Или будем мириться?

— Да вроде надо нам с тобой мириться, — сказал Онисько не очень уверенно.

— А если мириться, то как? Я до тебя должен пойти или ты до меня?

Онисько вздохнул:

— То-то и оно.

— Может, мне записаться в банду? — настаивал Федя.

— Нет, тебе в банду никак нельзя. — Онисько решительно тряхнул головой, а потом добавил: — Но и меня в ЧК не возьмут.

— А если возьмут?

— Не знаю, как они могут взять, — вяло, без особой охоты сказал Онисько.

— Да, Онисько, мы с тобой спали рядом и жили рядом, до девчат вместе ходили. Хочешь, опять будем вместе?

— Так как это может быть?

— Посмотрим. Подумаем вместе. Ночевать можно тут у тебя?

Онисько от удивления оторвал себя от подушки.

— Ты... будешь у меня ночевать? Ты мне так веришь?

Федя усмехнулся.

— Конечно, верю: Я тебя, Онисько, лучше знаю, чем твои атаманы.

Дверь в хату слегка приотворилась, и на пороге показался хозяин.

— Дядя, дайте поесть нам,— сказал Онисько.

Появилась хозяйка. Стол придвинули к кровати, на стол поставили бутылку самогону, стаканы, миску с кусками сала; хозяйка достала из печки горшок с тыквенной кашей и отошла в сторону.

Тогда Федя позвал к столу хозяина и хозяйку так, будто он здесь угощал; они присели, выпили за знакомство и снова один за другим тихо вышли из хаты.

— Они у меня хорошие,— сказал Онисько.— Это отцов брат.

— Лишнего не скажут?

— Нет. Ни за что.

— Значит, никто не узнает, что мы приезжали к тебе. Выздоровливай, Онисько, и помоги нам. Ты же знаешь, сколько людям мучений от этого.

— Да, но и вас проклинаят.

— Конечно, ругают всех. Люди устали уже. Надо кончать с бандой, и ты можешь помочь.

— Но как?

— Ты скажи сначала — согласен ли? А как — это потом...

Онисько опять замолчал, потом посмотрел Феде в глаза и сказал потерянно:

— Теперь я в тебя стрелять не могу. А ты хочешь, чтоб я мог стрелять в тех, с кем я уже год в отряде. Там тоже есть хорошие парни, такие вот, как Соловей.

— Как же они в банду попали, эти хорошие парни?

— Чего только не бывает в жизни! — вздохнул Онисько.

Это снова была задача.

Но Федя решил ее:

— Не нужно, чтоб ты стрелял. Есть другие способы перестать быть бандитом.— И Федя сказал за Онисько: — Я вижу, что ты согласен.

Онисько ответил не прямо:

— Это, Федор, потому только, что с тобою встретился.

Федя даже не обратил внимания на эту уклончивость — он был уверен в Одиско.

— Тогда давайте ложиться. Утро вечера мудреней.

Ониско стукнул в стенку, у которой лежал.

На пороге опять появился хозяин.

— Дядя, хлопцам переночевать надо.

Принесли со двора соломы, покрыли ее рядом, и скоро оба гостя крепко уснули. Ониско, как он признался утром, так и не уснул в эту ночь.

Федя проснулся веселый, шумно вымылся: он и на этот раз не изменил своей постоянной армейской еще привычке — куда бы его ни закинуло, с утра мыться до пояса холодной водой из колодца, а до того как вымыться, даже размялся и сделал стойку, не отказался от завтрака и лишь после этого, бодрый и деловитый, вернулся к вчерашнему разговору.

Собственно говоря, он и не возвращался к тому, что было уже решено.

Речь шла теперь о деталях.

Ониско должен отлежаться, поправиться, а когда станет совсем здоровым, пусть возвращается в банду. По дороге со станции Пятиручье он должен послать в Нижний Яр на имя приехавшего с Федей товарища письмо условного содержания. Это письмо скажет о том, что Ониско вернулся в банду. На второе воскресенье, после того как будет отправлено это письмо, Федя ожидает Ониско в посадке к югу от Еленовки. Если почему-нибудь в это воскресенье Ониско не сможет приехать, Федя ждет его еще одно и еще одно воскресенье.

Федя в этот день был в ударе — все ему давалось легко: и на ходу придумать, каким должен быть текст письма, и сразу, без колебаний, определить место встречи.

— Будь только осторожен, Ониско, — мягко сказал Федя. — Смотри, порубят тебя на капусту твои атаманы.

— Да, это так. Комендант у нас больно лют. На него и свои даже зуб имеют.

Хозяева, встретившие гостя сдержанно и не слишком приветливо, сегодня держались совсем по-другому: хозяйка даже приготовила яичницу с салом, что по той поре было совсем уж чудом.

Федин спутник тем временем сходил в сельсовет, приготовил к дороге коней, предупредил председателя сельсовета, чтобы он никому не говорил о приезде чекистов.

Онисько в тот день рассказал Феде о банде все, что только мог: об атаманах, о рядовых бандитах, о том, кто из какого села, кто на какой лошади ездит, о тех хуторах, где он останавливался вместе с другими, о налетах, в которых он принимал участие.

На прощание Онисько признался, что ему и самому уже давно стало тошно в банде и хотелось послать все это к черту, только как это сделать, он придумать не мог.

— Как начнем овины с хлебом палить, у меня душа наизнанку. Я же сам сеял хлеб,— глухо сказал Онисько.

Он безнадежно махнул рукой и замолчал.

Выехали из Яблунца, как и приехали, вечером.

Не застав Яшу Березня в ЧК, Федя направился к нему в общежитие.

На Яшиной койке сидел мальчик десяти-одиннадцати лет, может быть старше, худой, черноглазый, в нахлобученной на глаза фуражке — Феде показалось, что это фуражка Яши, — перепоясанный военным ремнем, тоже, пожалуй, Яшиным. Оторвавшись от книжки, которую он читал, мальчик сказал, что дядя Яша выехал по заданию, но скоро должен вернуться.

— А ты как сюда попал? — спросил его Федя.

— Я сын дяди Яши, — серьезно ответил мальчик.

Федю этот странный ответ озадачил. Но слишком уважал Федя своего старшего друга, чтоб уточнять обстоятельство.

Мальчик встал — он оказался нескладным, неловким; неумело, но торопливо он прибирал комнату, готовясь к возвращению Яши, вскипятил на «буржуйке» чайник, сварил картошку (Федя заметил — запас пластинок в углу комнаты весьма поубавился). Затем мальчик уселся за стол, разложил тетради и книжки и стал писать.

Наконец с лестницы послышались шаги человека, идущего, должно быть, через две-три ступеньки, — Федя это сразу определил. Мальчик соскочил с табурета и, когда Яша открыл дверь, поднес руку к фуражке, вытянулся по стойке «смирно» и по-военному доложил:

— Помещение убрано, ужин готов, уроки сделаны, чрезвычайных происшествий не было. Комендант Михаил Березень.

Черные глаза его, пожалуй немного косящие, при этом как бы распахнулись, стали совершенно прозрачными, и все его худенькое смуглое личико с острым носиком вдруг осветилось и выразило полную преданность, готовность следовать за Яшей куда угодно, выполнять любые его приказания.

Яша улыбнулся, потом, подавив улыбку, серьезно сказал:

— Рапорт принят. Вольно.

Очевидно, между ними была заведена такая игра. Яша достал из планшета бумагу, написал несколько слов, вложил их в конверт и, потрепав мальчика по голове, попросил отнести конверт в комендатуру и сразу же возвращаться.

Наверное, это задание он выдумал для того, чтобы остаться с Федей ненадолго вдвоем.

Когда мальчик ушел, Яша сказал:

— Сын.— И объяснил: — Ты же знаешь, сколько теперь беженцев с Волги. Мы подбирали на улицах ребят-беспризорников. Миша попался первым, спал под мостом, в трубе. Я сам его растолкал, разбудил, он хотел от меня бежать, я удержал его за руку — силенок у него было мало. Вот я и решил не отдавать его в детский дом. Надо ж когда-нибудь сына иметь — ну так не все ли равно, свой или не свой? Свой еще может и дочкой выйти. А этого я воспитаю.

Федя был поражен: он ведь тоже подбирал голодных ребят, устраивал их на работу или отправлял в детдома, но ни разу ему не пришлось в голову взять кого-нибудь себе в сыновья.

Яша интересовался подробностями встречи с бандитом — Феде было не по себе оттого, что Онисько называют бандитом, но возражать он не мог. Яша настаивал, чтобы и на следующую встречу с Онисько Федя ехал с товарищем.

Федя преклонялся перед умом и опытом Яши, но слишком уверен он был в Онисько и слишком уверен в себе. Он боялся оттолкнуть Онисько своим недоверием и просто по-человечески не хотел обидеть его, а себя показать трусом перед старым товарищем.

Яша подумал и согласился:

— Может быть, ты и прав. Ладно, пусть будет по-твоему — один на один, если ты так уверен, что твой Онисько придет один.

В это время на пороге показался Миша. Он передал Яше записку и вернулся к своим обязанностям коменданта. Вскоре подошли еще два коммунара — слово «сосед» никак не соответствовало бы тем отношениям, которые сложились у обитателей этой комнаты.

Гриша Грохольский, застенчивый, худенький, сутуловатый, был глуховат после контузии. Яша уже рассказывал Феде о нем: глухота не мешала Грише — в бою он был бесстрашен, и бандиты давно охотились за «глухим чекистом», как они звали Гришу. Толя Туровцев, напротив, был стройный, красивый парень, уверенный в себе, веселый, смешливый. Федя подумал, что гири, лежавшие под скамейкой, принадлежат, должно быть, ему. Гриша, в отличие от большинства глухих, говорил удивительно тихо — он был деликатен и не хотел, чтоб люди страдали от его недостатка. Толя держался шумно, даже, пожалуй, развязно и разговаривал громко — впрочем, может быть, он это делал для Гриши.

Комендант предложил садиться за стол, никто не заставил повторить это дважды — расправа над ужином была скорой и огорчительно легкой.

8

Возвращаясь в Шуровку, Федя думал о том, должен он или не должен сказать Алексею о том, что видел Онисько?

А в Шуровке Федю ждала беда. С вестью о ней он разминуся в пути. По проводам летело в Нижний Яр сообщение о том, что неизвестными умерщвлен раненый бандит Алексей Лозовой, находившийся в Шуровской больнице на излечении.

Это случилось в ту самую ночь, когда Федя был у Сокола в Яблунце.

Алексей только что перенес еще одну операцию — доктор Голубовский счел ее необходимой — и после наркоза лежал без сознания.

Фельдшерица Любовь Ефремовна всю ночь просидела у оперированного. На рассвете, как обычно, ее сменил

старик Аверьянов. Как стало понятно позднее, фельдшер пришел на дежурство навеселе. В больнице он еще выпил спирта, его стало клонить ко сну, и он прилег на койку в соседней комнате. В это время кто-то успел растворить снаружи окно, залезть в комнату, набросить на шею больному петлей шнурок и потом закрутить его веткой.

Фельдшер подремал, должно быть, недолго. Когда он вернулся в палату, за окном что-то тяжело упало на землю. Раненый был задушен, а на подоконнике валялась брошенная вишневая ветка.

Кто это сделал? Зачем? В чьих интересах?

Прошло много времени, прежде чем перед Федей Панько раскрылось все, что произошло этой ночью.

А пока он знал лишь одно: он в ответе за то, что случилось. Ведь Яша Березень ему говорил, что раненого нужно немедленно везти в Нижний Яр.

Фельдшерица Любовь Ефремовна, жена Передерия, красивая тридцатилетняя женщина, покинувшая палату, где лежал раненый, за час до его конца, теперь вела себя странно. Она искала встреч с Федей Панько, подойдя к нему, брала его за руку и смотрела в глаза, словно хотела что-то сказать, но так ничего и не говорила.

— Что это с ней?

Федя решил, что она просто скучает... Нет, Феде Панько не до этого! Пусть кто-нибудь другой развлекает жену Передерия. Яша Березень недаром говорил, вручая Феде мандат: «Ты, Панько, смотри, лично себе мы пока ничего позволить не можем. Бывает, человек теряет голову, а враги этого только и ждут...»

И Федя смотрел, он ничего себе не позволял. Как можно думать о чем-то, не имеющем отношения к делу, когда ты в ответе за мир и покой четырех волостей. Он запрещал себе вспоминать даже Нину Поречную, которую не видел с тех пор, как уехал из Каменки. Зачем же ему начинать знакомство с чужой женой? Он стал избегать Любови Ефремовны.

Но то ли он делал, что нужно? Всегда ли нужно избегать человека на том только основании, что человек этот — женщина? Пройдет какое-то время — раскроется Феде и это.

Пока ему и без этого было о чем подумать.

Будет ли письмо от Онисько? Сдержит ли Онисько свое обещание? Или окажется, что Федя и тут ошибся?

Сомнения сменялись уверенностью, уверенность снова уступала сомнениям.

Нет, Федя не склонен был поддаваться отчаянию. Если с Алексеем он и правда дал промах, то уж с Онисько-то все должно быть как надо.

Теперь Федя поражал доктора Голубовского внезапным интересом к медицинской науке: снова и снова зачем-то выспрашивал у него, сколько времени требуется для заживления ран,—он перечислял при этом самые различные ранения: в руки, в ноги, в живот.

9

И вот от Онисько пришло письмо на указанный адрес.

Это была победа, которая, как Феде казалось, умаляет в глазах Яши Березня Федину непростительную оплошность.

Конечно, он поедет только один на один. Он стоял на этом и раньше, а теперь, после того что случилось, и нельзя было иначе.

В воскресенье к вечеру Федя поехал. Встреча была назначена в лесной посадке у села Еленовка, в семи километрах от Шуровки.

Кончался серый осенний денек, переставал и накрапывал снова надоедливый мелкий дождь.

Деревья стояли голые, скучные; листья облетели и уже, потемневшие, вяло шелестели под сапогами.

Федя привязал коня, закурил и отошел от того места, где чиркнул спичкой, в сторонку. Никто не отошел.

Он прошелся несколько раз туда и обратно вдоль голого леса, опять чиркнул спичкой и опять отошел в сторонку. Спички были самодельные, с резким запахом — не услышать его было нельзя.

Опять никто не отзывался.

В посадке было тихо.

Федя кашлянул. Тогда через какое-то время раздался стук — кто-то, должно быть, ударил ногой о дерево.

Федя понял, что это Онисько. Один он идет или нет? И Онисько, должно быть, думал о том же. Как видно, он не спешил появиться.

Федя выждал, потом спросил:



Наконец из-за мокрых черных стволов показался Онисько.

— Кто это?

— Я.

Они узнали бы голос друг друга среди тысячи других голосов.

Наконец из-за мокрых черных стволов показался Онисько. Он был в куртке, перепоясанной ремнем, с патронташем, в добрых штанах, заправленных в сапоги.

Сейчас только Федя увидел, как возмужал, раздался в плечах и даже вырос за эти годы его товарищ, — когда он лежал в постели, это не было так заметно. Онисько был статный, высокий парень, красивый, чернобровый, кровь с молоком, да еще, видно, он хорошо отлежался у дяди. Пожалуй, если дошло бы до кулаков, Онисько бы его одолел — это мелькнуло у Феди мгновенно, и он сразу оттолкнул эту мысль. Нет, драться им не придется.

— Здорово, Онисько!

— Здорово!

Федя протянул ему руку и почувствовал его пожатие.

— Как тебя приняли? Нет подозрений?

— Нет. Все хорошо. А ты как тогда доехал? Ни с кем не повстречался?

— Нет, обошлось.

Тогда Онисько задал вопрос, который — Федя знал это, когда ехал на встречу, — не мог не задать.

— Что вы сделали с Алексеем?

Федя ответил, что Алексея задушили бандиты, — он был в этом уверен.

Онисько решительно мотнул головой.

— Нет, наши хлопцы своего бы не тронули. Никто бы их не заставил. Теперь нам говорят: вот как поступают чекисты с пленными. Все-таки это сделали ваши. Может быть, ты не знаешь...

— Уж кто-кто, а я-то бы знал, — сказал Федя и тронул товарища за плечо, как бы жалея его, что он этого не понимает. — Мы так не делаем, неужели не веришь? Эх, Онисько, Онисько! Если б ты знал, как я берег его...

Они смотрели один на другого, и каждый видел: другой не врет. И каждый при этом верил себе, но время, раскрывшее истину им обоим, еще не пришло. Сейчас они говорили о том, что им было понятно.

Онисько рассказал, что, пока он лежал у дяди, в банде многое переменялось. Настроение сейчас боевое,

в Нижний Яр из-за кордона прибыл эмиссар. Был он и в отряде. Эмиссар говорил, что нужно вовлекать больше людей, готовить оружие, пересматривать тайники, где оно хранится; из-за кордона будет сигнал, и начнется большая война на хуторах, а пока банды должны держать крепкую связь между собой, сколачивать боевые группы по селам и хуторам.

Федя слушал, стараясь сохранить в памяти каждое слово Онисько. Уже то, что он услышал, оправдывало эту опасную встречу. Рисковали и он и Онисько — больше, конечно, Онисько, — это он понимал. Нужно было скорей разъезжаться.

— Скажи, ты отлучаться куда-нибудь можешь?

— Могу. Иногда мы ездим домой или к родным — помыться, переодеться, повидаться с девушками. Едем обычно по двое. У хлопца, с которым, я езжу, хватает своих забот: его дивчина сказала ему: «Или банду бросай, или я замуж за комиссара пойду». Он в мои дела не вникает, да и заметил бы что — не выдал.

— А ты куришь, Онисько?

Онисько смутился, сказал неохотно:

— Нет. Не курю.

Федя засмеялся:

— Какой же ты бандит после этого? Красна девица, а не бандит. Немедленно начинай курить.

— Зачем это?

— Тогда ты всегда можешь иметь при себе бумагу. А карандаш ты можешь держать в кармане?

— Конечно.

— Это не покажется странным?

Онисько достал из кармана тупой огрызок карандаша.
— Случается иногда написать записку, с кем-то связаться.

Решили, что в тайнике, в условленном месте, Онисько будет время от времени оставлять Феде записки, сообщать все важное, что происходит в банде. Через этот тайник можно будет договориться о новой встрече.

Федя сел на коня и поскакал домой, окрыленный удачей: расчет его оказался верным. Было что сообщить Яше Березню и тем хоть как-то загладить свою вину.

Забыв о конспирации, Федя запел. А может быть, даже в этом была высшая конспирация?

Он ехал на своей резвой Зойке и пел на всю степь:

Стоит гора высокая,
А під горою гай,
Зеленый гай, густесенький,
Не наче справди рай.

Видно, Федя Панько и вправду чувствовал себя принятым в рай после своей первой удачи на посту уполномоченного ЧК.

А вот с песнями ли возвращался в отряд Онисько? Может быть, нет.

То, что ему предстояло, было труднее. Федя, по правде сказать, об этом не думал. — слишком увлечен он был своим делом, чтоб посмотреть на него с другой стороны. Да и какая бы в этом была польза?

10

От Онисько Федя услышал впервые об эмиссаре, прибывшем из-за кордона, но ни тот, ни другой не знали в то время, что означало его появление.

Головной атаман украинских буржуазных националистов Симон Петлюра, трижды разбитый на фронтах гражданской войны и убравшийся за кордон, договорился с белополяками и теперь готовил «ледовый поход» Тютюника на Украину. Одновременно с вторжением из-за кордона Петлюры на Украине должно было подняться восстание против Советов. Для активизации подполья и бандитских отрядов через кордон переправлялись верные люди — петлюровские эмиссары.

Осенью двадцать первого года в одной из гостиниц города Ровно сотник Левченко встретился с полковником атаманской разведки Петлюры и представителем второго отдела Польского генерального штаба.

Левченко, совсем молодой еще человек — ему только что исполнилось двадцать семь, — крепкий, подтянутый, бесстрашный и хладнокровный, со шрамом от сабельного удара на правой щеке, был рожден для военной службы; во время войны он был послан в юнкерское училище, которое окончил блестяще. Левченко ничуть не страшился тех испытаний, которые ему предстояли. У него были свои счеты с большевиками: на Правобережье оставались богатый хутор и мельница его отца, кончившего жизнь

в эмиграции,— теперь его собственное наследное имя, как он считал.

Представитель Польского генерального штаба дал понять сотнику Левченко, что Нижнеярье, куда он направляется, представляет особый интерес для генштаба, так как в этих краях много рудников принадлежит франко-бельгийским миллионерам, на деньги которых создавалось Польское шляхетское государство.

Представитель генштаба дал Левченко явку к штейгеру одного из рудников, просил передать на словах: генштаб желал бы, чтоб рудники не работали, пока не вернется настоящий хозяин, но чтобы можно было их быстро восстановить, когда это будет нужно.

Левченко с пренебрежением слушал холеного польского подполковника, показавшегося ему не настоящим военным, а нарядившимся в военное барином. И вообще интересы Польского штаба, а тем более франко-бельгийских миллионеров, меньше всего беспокоили сотника, готового к подвигу. Вовсе не ради Польши и не ради франко-бельгийских владельцев он решил пересечь чуждый кордон.

Совсем другим стал разговор, когда представитель генштаба ушел и в гостиничном номере остались два хорошо понимавших друг друга украинца, одинаково тосковавших по родине в этом постылом — будь оно трижды проклято — закордонье.

Полковник атаманской разведки, отяжеленный временем и невзгодами, обрюзгший, лысеющий пожилой человек, напутствовал молодого сотника, как родного сына: Левченко предстоял путь на родину, но какие опасности таил в себе путь этого юноши к отчужденному дому!

— Мы должны всеми силами поддерживать неуверенность населения в прочности новой власти,— наставлял он эмиссара.— Для этого придется вешать, стрелять — как это ни горько, ибо страдать будут все те же украинцы,— терроризировать советские органы. Мы должны всеми силами сохранить боевой дух вооруженных отрядов, чтобы они поддержали вторжение извне.

Полковник дал сотнику пароли и явки — были среди них и две явки в Каменку,— на прощание перекрестил его, по-отечески обнял.

На следующий день Левченко получил еще некоторые указания и изготовленный тайнописью на полотне

документ с печатью в виде трезубца, удостоверяющий, что сотник Левченко является представителем штаба головного атамана Украинской народной республики. Полотнянку он подшил к изнанке штанов и двинулся в путь.

Границу Левченко перешел с помощью контрабандиста: переправился через Збруч, явился по адресу, указанному ему за кордоном, и здесь сразу чуть не попал в беду — хозяин явочной квартиры за день до этого был арестован. Левченко удалось отсюда благополучно уйти — у него были еще адреса. Так он шел, рискуя ежеминутно, от одной явочной квартиры к другой, побывал по пути во многих отрядах, пока наконец не оказался на хуторе, куда он вез весточку и привет от сына, находившегося в эмиграции. Здесь его приняли, как родного. Здесь впервые за долгий путь он почувствовал себя в безопасности, впервые разделся по-домашнему, лег в постель и уснул чуть ли не на целые сутки, предоставив заботиться обо всем остальном гостеприимным хозяевам.

Хозяин действовал сам. На другой уже день в дом его прибыл связник из Холодного Яра.

В холодноярском лесу в то время скрывался крупный отряд Серко, опиравшийся на него повстанческий комитет, который готовил восстание и держал связи с вооруженными бандитами и бандитским подпольем.

Руководил повстанкомом Крук, один из членов ЦК Украинской партии эсеров, присланный в Холодный Яр еще до разгрома петлюровцев, до бегства их за кордон. К нему и привезли эмиссара.

Крук важно сидел за чисто выскобленным столом в хорошей крестьянской хате, принадлежавшей, наверное, леснику. После обмена паролем он спросил эмиссара:

— Может ли пан сотник чем-нибудь еще подтвердить свою принадлежность к штабу головного атамана?

Левченко отошел в сторону, отпорол от штанов полотнянку, спросил у Крука, не найдется ли в доме горячий утюг. Утюг, конечно, нашелся. Адъютант Крука разглаживал полотнянку, протянутую ему эмиссаром, а все находившиеся в хате старшины с почтением наблюдали, как постепенно из-под горячего утюга на полотнянке проступали текст удостоверения, печать головного атамана

в виде трезубца и собственноручная подпись Симона Петлюры.

Это произвело впечатление почти такое, как если бы сам пан головной атаман появился в этом глухом лесу собственной персоной.

После предъявления полотнянки Крук и Левченко разговорились уже совсем откровенно.

Левченко рассказал об эмиграции, о том, что договор с Польшей не пользуется популярностью среди эмигрантов, что не надо переоценивать его серьезность и прочность, говорил, что атамана поддерживают католические круги и что будет война — нужно только активно готовиться к ней изнутри.

На откровенность Крук отвечал откровенностью:

— Там, за кордоном, друже мой сотник, они ничего не знают. Не так все это просто, как они думают там.

Левченко отвечал, что прошел от Збруча до Холодного Яра, видел много боеспособных отрядов и боевых атаманов. И они рассуждают совсем не так, они считают, что обстановка благоприятна восстанию.

— Они так считают, когда самогону напьются, — отвечал иронически Крук. — Может, выпьем с дороги, сотник, и тоже повеселеем?

Это предложение Левченко отклонил.

— Что ж вам мешает думать так, как они? — спросил он Крука.

— Был у нас тут крупный отряд во главе с Клепачом. Много казаков сидело у него на конях. А потом так стало случаться: едет хлопец до батьки домой, а батька говорит ему, что землю получил от Советов, что пора бы сыну братья за эту землю. Начал Клепач постепенно терять людей. Отчаялся, запил, занялся настоящим разбоем. Благо в этом отряде — учитель Андриюшенко, умный, грамотный человек. Пришлось ему ликвидировать Клепача, поставили на его место Кныша.

Это не убедило Левченко.

— Что ж. Такое бывает. Вместо плохого атамана надо ставить хорошего.

— Но и хороший землю не может дать. Землю дают Советы. Мы совершаем налет, убиваем коммунистов, сжигаем здание волисполкома и в нем заодно печать, которой скрепили отдачу земли. Понимают ли это там, за границей? Чтобы это понять, надо здесь побывать...

— Вы просто устали, пан атаман,— сказал с сочувствием Левченко.

— Да, я уже не молод,— согласился с ним Крук.— И потом я агроном, знаю деревню. Я вижу то, чего не видят другие, и сам жалею об этом. У вас свежие молодые глаза. Может быть, вы увидите все по-другому. В вашем распоряжении район Нижнеярья. Будете опираться на Кныша, на Ступака. Я вас доставлю туда, дам адреса. Добрый вам час!

Вечером Крук угощал молодого сотника: Левченко нравился ему своей убежденностью, своей прямоотой, он весь был в напряжении, весь как струна. Сам Крук уже давно не был таким.

Хлопцы из отряда Серко на лужайке перед лесной заставой пели украинские песни, которых, наверное, долго не слышал пан сотник, плясали гопака, как могли, веселили гостя.

Утром эмиссару изготовили поддельные документы, дали ему проводника и по цепочке от отряда к отряду направили его на Нижнеярье.

Так он попал в банду Кныша — Андриюшенко, где его видел Онисько.

На глухом хуторе он сидел с хлопцами в клуне, рассказывал им, как пробирался через границу, как на каждом шагу его подстерегала опасность и как люди помогали ему.

11

Чи-то добрые руки давно уже вырыли посреди степи глубокий колодец — криницу, чтоб путник мог утолить жажду, а всадник напоить своего коня. В нескольких шагах от криницы поставили распятие под небольшим навесом.

Высокий журавель наклонялся за студеной водой и для красных конников, и для бандитов — криница поила всех.

Это место и выбрал Федя Панько для тайника.

Здесь, в навесике, покрывающем распятие, под ржавым листом железа, немного отставшим от края, нашел Федя первое донесение от своего Онисько: «Наши собираются в гости к отцу Вавиле», — измененным почерком нацарапал Онисько.

Это означало, конечно, не что иное, как то, что бандиты собираются сделать налет на Шуровку.

Федя переглянулся со своим помощником Ваней Лазаренко, сопровождавшим его к кринице. Да, теперь у Феди Панько был свой помощник! Это случилось так. Федя приехал с докладом в ЧК, а Яша Березень повел его в Уком комсомола, попросил рассказать комсомольцам о том, как идет борьба с бандитизмом. Федя считал, что рассказывать-то пока еще нечего, но раз Яша Березень просит — значит, надо рассказывать. Они вошли с Яшей в квадратную комнату, посреди которой стоял небольшой некрашенный стол. За этим столом сидели ребята и девушка — она была здесь одна. Сидели они близко друг от друга, сгрудившись к центру и доставая друг друга лбами — видно, шел у них тут какой-то серьезнейший разговор, не предназначенный для широкого оглашения. Увидев Яшу и Федю, один из них подтянул штанину и, толкнув в бок своего соседа, шепнул ему на ухо так, что услышали все: «Да заправь ты рубаху!» — «Ничего-ничего, — успокоил их Яша, — если девушки своей не стесняйтесь, так и нас не стесняйтесь. Тут приехал уполномоченный УЧК, он вам расскажет, как на его участке идет борьба с бандитизмом. А вы подумаете и выделите нам в УЧК из своей среды двух надежных ребят. Прямо скажу — дело такое, что и голову можно не сносить на плечах. Но вот Федя Панько, тоже простой рудничный парень, не испугался».

В итоге этой беседы в Укоме Федя получил помощника — комсомольца Лазаренко. Ваня Лазаренко был симпатичный парень, курносый и черноглазый; он всегда улыбался и даже, по мнению Феди, слишком уж был беспечен и добродушен. Зато на коне Ваня скакал лучше, чем Федя, недаром Ваня был из дойских казаков.

Так вот, переглянулся Федя с Ваней Лазаренко, и оба они улыбнулись — попробуй не улыбнись, если взглянул на Ваню. Да и было чему радоваться, конечно: Онисько действует, Онисько жив и невредим, есть у чекистов друг в стане врагов!

— Ишь дело какое! — ликующе сказал Ваня Лазаренко. — Тьфу! — И он смачно сплюнул. Была у Вани такая дурная привычка — плевать и от радости и от не-радости, но радости у него — по его характеру — было больше.

Однако, нужно признаться, в записке сказано было не так уж и много.

Когда ж они собираются делать этот налет? Вот ведь что было главным! Нужно было посоветоваться обо всем с Демченко. С кем же еще советоваться, если не с ним?

Демченко застали в волисполкоме.

Был уже вечер, но он уходил отсюда за полночь. И дел хватало, и спешить было некуда: Демченко жил здесь пока без семьи.

Когда Демченко выслушал обоих чекистов, оказалось, что дело и вовсе не просто.

Можно предупредить актив, чтоб были поосторожнее, но это посеет панику. Да и что значит — быть осторожней? Можно собрать актив из соседних сел, но неизвестно, когда будет налет. Нельзя же держать всех в сборе неопределенное время. И если в Шуровке что-то почувствуют, все станет известно бандитам. Откуда чекисты узнали их планы? Будет поставлен под угрозу Онисько. Об этом разговор не ведется. Ведь Демченко про Онисько не знает. Это Федя думает уже про себя. Нет, и этот путь не годится! Как же следует поступить? Так или иначе — нужно выиграть время...

Демченко вдруг сказал:

— Черт его знает, хоть бы какая воинская часть мимо прошла, как было бы кстати!

Ваня сплюнул:

— Тьфу! Что ж мы! Так давайте телеграмму в уезд отстучим. Пусть шлют эскадрон.

Федя засмеялся:

— Там только и ждут твоей телеграммы. Не знают, куда эскадрон этот деть.

И тут его осенило:

— А давайте сделаем так, будто и правда воинская часть ожидается.

— Как это? — в один голос спросили Демченко и Лазаренко.

— А мы ночью мелом распишем ворота!

О, это была идея! Федя и сам удивился, как это пришло ему в голову! Был уже такой случай, когда в Шуровке разместили латышский полк. За день или за два до этого появился в селе квартирьер и расписал на воротах мелом, сколько в каком доме будет стоять красноармейцев.

Перед рассветом, в тот час, когда вот-вот запеть петухам, уполномоченный УЧК, его заместитель и секретарь волячейки, вооружившись мелом, крались от забора к забору по спящим улицам Шуровки.

Утром Шуровка читала на воротах и на калитках: 3 чел., 10 чел., 15 чел.

Читала и глубоко вздыхала: Шуровка знала, что это значит.

Кое-кто припрятывал подальше овес и продукты.

Нет, пока что банда сюда не сунется.

12

Когда Федя наставлял своего заместителя, он во многом повторял внушения Яши, не отдавая себе в этом, конечно, отчета. Не забыл он и Яшиных предупреждений: о личном пока не думать.

Ваня слушал его серьезно и даже не улыбался; быть может, это был единственный случай, когда он разговаривал не улыбаясь. Его сосредоточенное молчание означало только одно: конечно, о чем тут может быть разговор, пусть Федя будет совершенно уверен.

Но стоило Ване Лазаренко зайти на квартиру к Феде и увидеть Наташу, дочку отца Вавилы, — он сразу погиб. И вот уже он прибегал к Феде по неотложным делам даже тогда, когда точно знал, что Феде здесь нет. Предлог увидеть Наташу он находил и два и три раза в день. Вот когда матушка да и отец Вавила оценили своего квартиранта: серьезный молодой человек — ничего не скажешь, его заместителю далеко до него.

Матушка даже пожаловалась Феде Панько на Ваню:

— Пусть он ее не смущает — ей нужно о жизни думать, а они друг другу не пара.

Федя отчитывал своего товарища:

— Она хорошая девушка, но она — дочь попа, а ты — комсомолец. Жениться на ней ты не можешь, так что забудь.

Нет, Федя бы себе того не позволил. Сколько он ездил по селам, сколько его звали на вечерки девчата, он никогда не забывал: он на войне. Другое дело, если нужно познакомиться с кем-то в интересах работы. Уполномоченный УЧК не должен чураться людей, он должен

бывать и среди молодежи, и там, где поют и пляшут, и там, где собрались посидеть за столом.

И как раз в это время Федя получил записку от девушки.

В небольшом, утопающем в садах селе Ново-Марьяновка, расположенном на границе с соседней волостью, была начальная школа. Заведовала этой школой молодая красивая учительница Мария Кузьменко. Тут же при школе она и жила. Учительницей были довольны, хотя толков о ней ходило немало. Слишком уж часто к Марии Демидовне приезжали парни из окрестных сел и хуторов — один краше другого, — и все, как один, хотели узнать, как ведет себя в школе младший братишка. Но виновата ли была учительница в своей красоте?

Когда, получив на адрес милиции записку от Марии Кузьменко, Федя решил навести справки о ней у волостного инструктора народного образования, он получил о Кузьменко самый положительный отзыв.

Записка ее была короткой и не слишком уж ясной: «Я была бы рада, товарищ Панько, если бы вы заехали ко мне как-нибудь в школу. Есть необходимость поговорить. С приветом М. Кузьменко».

Сначала Федя почему-то подумал, что свидание, которое ему назначали, не было деловым. Он видел несколько раз мельком Марию Кузьменко, и ему запомнилась ее внешность. Интересно, что это ей пришлось в голову приглашать его в гости? В кавалерах у нее недостатка, конечно, не было... Тут Федя обратил внимание на последнюю фразу: «Есть необходимость поговорить...» Это звучало серьезно. Что же, значит, его ждет деловое свидание? Это, конечно, тоже вызывало интерес Феди Панько, но, решив, что ему назначается деловая встреча, он, пожалуй, был чуточку разочарован, если уж говорить полную правду; зато это давало ему право откликнуться на записку.

Еще неизвестно, разрешил ли бы себе молодой чекист эту поездку, если бы не подумал, что она имеет отношение к делу. Мы уже знаем, что Федя Панько спуска себе не давал. Так или иначе, не откладывая, Федя заседлал свою Зойку и поехал в Ново-Марьяновку.

Был полдень, только что кончились занятия в школе, когда Федя постучал в окошко флигеля, стоявшего на школьном дворе. В окошке сразу показалась Мария

Кузьменко. Федя попросил у нее напиться, а когда она вышла к нему на крылечко с ковшом, негромко спросил:

— Удобно ли к вам просто зайти или надо придумать предлог?

— Конечно, удобно,— улыбнулась Мария Демидовна и как будто бы чуть смутилась.— Ко мне часто приезжают по делу.

Федя привязал коня к тополи, стоявшему у калитки, и вошел в дом.

В уютной небольшой комнате было прохладно и чисто.

— Вы получили мое письмо или заехали сами? — спросила Мария.

— Письмо получил. Спасибо за приглашение. Хотя, по правде сказать, я не пойму, чем могу быть вам полезен.

— Ой, вы хотите все сразу узнать,— лукаво сказала хозяйка.— Присаживайтесь, я угощу вас квасом. Самогон вы как будто не пьете?

— Откуда вы знаете, что я пью и чего не пью?

— Люди добрые про вас говорят.

Федя выпил поставленную перед ним кружку кваса и вопросительно посмотрел на Марию.

— Можёт, закусите?

— Спасибо, не хочется. Ну, как вы тут живете?

— Живем хорошо.

— Что нового в ваших краях?

— Да все как будто бы новое.

Федя понял, что Кузьменко уклоняется от серьезного разговора. Рад он был этому или нет? Трудно сказать. Быть может, польщен. Но собой поэтому он был недоволен: вот стоило его помянуть, и он уже тут сидит, квас распивает, тратит попусту время. А еще Ване Лазаренко читал целые лекции... Уходить он не уходил; по правде сказать, ему хорошо было тут сидеть и смотреть на хозяйку. Она стояла перед ним стройная, смуглолицая, с горячими большими глазами, с черными косами до самых колен. Но на себя он сердился все больше и больше.

Мария это, должно быть, заметила.

— Не думайте, что я позвала вас без дела,— сказала она.— Я хотела пожаловаться на сельсовет. Плохо у нас

относятся к школе: топлива не дают, окна стеклить не хотят.

— Но, простите, при чем здесь я? Я не имею к этому отношения.

— Во-первых, ЧК имеет отношение ко всему, а во-вторых...— Она запнулась и взглянула на него нерешительно.

— А во-вторых? — повторил он за ней.

— А во-вторых, мне хотелось, чтоб именно вы мне уделите внимание.

Кажется, она покраснела или Феде так показалось? Во всяком случае, она отвернулась и отошла к окну.

Федю поразила и тронула эта непривычная для него прямота — насколько он знал, девушки редко позволяли себе говорить такое. Марии, наверное, тоже не просто далось это признание; она стояла к нему спиной, и ее лица он не видел. Он готов был уже все позабыть и сказать ей, что она никогда не пожалеет о своей откровенности, но вдруг что-то остановило его и он сказал сдержанно и спокойно, снова, но уже по-другому, сердясь на себя:

— Вы еще не знаете, достоин ли я...

— Я-то знаю, — с горечью и обидой сказала Мария, по-прежнему стоя лицом к окну.

В комнату постучали. Женщина принесла учительнице молоко. Есть ли на свете сила более неодолимая, чем любопытство соседок? Она принесла свое молоко как раз тогда, когда увидела у калитки привязанного коня!

— Ничего себе ухажер, — бесстыдно улыбаясь, сказала молочница. — Уж хоть бы скорее ты замуж вышла.

Теперь Мария наконец отошла от окна — лицо ее было не красным, как думал Федя, а, наоборот, побледневшим. Федя почувствовал к ней что-то похожее на братскую нежность. Плохо, должно быть, красивой да одинокой — кто ни придет, все одни пересуды.

Быть может, не эта молочница — все бы решилось иначе. Теперь же он обещал Марии приехать через неделю, в субботу под вечер.

По дороге домой он решил: «Нет, не поеду». Потом возразил себе: он не Ваня Лазаренко, он это может себе позволить. И еще почему-то подумал: «Мария совсем не похожа на Нину Поречную» — и даже не побоялся на этот раз признаться себе, что ему больше нравятся такие,

как Ница, — светловолосые, спокойные, тихие. На этом основании он решил, что Марии бояться ему не нужно, зато через нее он может много узнать о здешних учителях. Зачем же ему бежать от такой возможности?

Уговорил себя так и неделю жил в ожидании субботнего вечера. Мысль о предстоящей поездке делала праздником каждый день. Федя встревожился было, потом успокоил себя: мол, каждое новое знакомство для чекиста удача, вот он и рад.

Так ли это было на самом деле?

13

Демченко, секретарь шуровской волячейки, сидит на кровати в одном нижнем белье — бледный, худой, небритый. Федя присел на табурет, рядом с кроватью, смотрит на товарища, видит сквозь прозрачную кожу синие жилки, с тревогой думает: «Как, чем теперь его поднимать?»

Демченко только что перенес испанку и воспаление легких — его теперь нужно кормить и кормить. Недаром в Шуровке о нем так позаботились.

Когда он пришел в себя, хозяйка дала ему жареную картошку. Он удивился, откуда взялось вдруг масло?

Хозяйка призналась:

— Черный прислал для вас. Чтoб поправлялись.

«Черный» — это была кличка Крутищенко, одного из шуровских кулаков.

Демченко рассердился:

— Зачем же вы взяли? Сейчас же унесите бутыль обратно и передайте Крутищенко, что я ни в чем не нуждаюсь.

А через несколько дней хозяйка принесла ему пышки из белой муки.

— А это откуда?

— Крутищенко прислал вам мешок муки. Она же как снег бела, вон в амбаре стоит. Вы уж ешьте, не думайте, вам здоровье надо поправить.

— Ладно, эту муку я не пошлю обратно, — согласился Демченко. — Зовите сюда Ковальчука.

Пришел Ковальчук.

Демченко попросил его взять мешок муки для раздачи голодающим детям, посоветовал ему нынче же про-

известии у Крутищенко обыск — от большого избытка, видно, он такой щедрый.

Нашли у Крутищенко пять ям, засыпанных зерном; оставили ему столько, сколько нужно семье до нового урожая, остальное забрали и сдали в фонд голодающих.

Теперь Федя Панько сидит у кровати Демченко и думает: как, чем его поправлять? И кто его выхаживать станет?

Демченко кашляет и прячет платок; Федя догадывается: это он кашляет кровью.

— Знаешь что, — предлагает Федя, — давай жену твою вызовем.

— Боюсь я жену вызывать, она в покое живет с мальчишкой у матери, — отвечает Демченко, — а тут ведь война.

Сыну Демченко пятый год. Федя советует:

— Пусть сынишку она оставит матери, а сама приезжает.

Демченко вспоминает что-то и вдруг смеется:

— Зачем мне жена? Мне тут столько жен подставляют: то одну, то другую. Всё ждут, где я зевну.

Федя вспоминает вдруг, что скоро ему ехать к Марии Кузьменко, и почему-то начинает краснеть. Но Демченко, к счастью, этого не замечает.

— Да, надо, пожалуй, Гале приехать, — усмехается Демченко, — пока меня местные невесты не прибрали к рукам.

Демченко шутит — он жалеет жену, не хочет срывать ее с места, но Федя решает сегодня же дать телеграмму.

Ни секретарь волячейки, ни уполномоченный УЧК не знают, что в доме кулака Лымаря было недавно совещание, на котором решались судьбы Панько, Демченко и Ковальчука.

Речь шла о том, как их связать по рукам и по ногам, как их купить. Был в тот вечер у Лымаря и сам Андрищенко. Сергей Сергеевич — интеллигент. Это тебе не разбойник Клепач. Он вовсе не жаждет крови. Конечно, было бы лучше, если бы этих троих людей удалось приручить. Зачем их убивать? Какая от этого польза? Секретарь волячейки Демченко болен — нужно его поддержать. Неужели он сможет предать человека, чей хлеб вернул ему жизнь?

Но если уж нет — тогда дело другое... Андрюшенко и сам жалеет о том, что есть жестокая необходимость. Демченко — такой же учитель, как он. Обидно, если не удастся найти с ним общий язык.

Федя прощается с товарищем и уходит, не зная о том, что ждет их обоих...

14

Да, многого Федя еще не знает.

На днях его опять приглашал к себе ветврач Лихояр: — Приходи, посидим, будут девчата...

Опять не пошел. Поостерегся — что-то не нравится ему Лихояр.

А может, и надо было пойти? У Лихояра тоже всегда народ. Потом заболела Зойка, он повел ее к Лихояру — к кому же еще здесь обратиться с этим? Лошадь он вылечил быстро, должно быть, он все же толковый врач и неплохой человек, и зря Федя его сторонится.

Где друзья? Где враги?

В субботу вечером Федя был, как обещал, у Марии Кузьменко. Говорили о школьных делах, потом Мария сняла со стены гитару и спела ему несколько песен. Голос у нее был приятный, теплый, и песни пела она украинские, давние-давние.

Феде понравилось, что она не предложила ему самого-на и снова ничего не поставила на стол, кроме кваса; держалась с ним как товарищ — непринужденно и просто; никогда Федя не видел, чтобы девушки держались так просто. Условились о встрече через неделю, снова в субботний вечер.

В Шуровку Федя вернулся поздно. Поставил Зойку в конюшню милиции и шел через площадь, еще не решив, у кого сегодня ему ночевать.

Стояла глухая, беззвездная ночь, дул холодный осенний ветер, но здесь, в Шуровке, Федя все-таки дома, здесь он чувствует себя безопаснее, чем в других деревнях.

Федя пересек площадь, свернул в переулочек и вдруг увидел, как через площадь скачут какие-то всадники. Кто они? К кому?

На углу площади и переулка — аптека. Федя вбежал в длинный аптечный двор, постучал с черного хода. Ему открыл аптекарь Наум Борисович, одетый в ночной халат.



— ...ты говори, а то сразу прикончим!

Федя спросил с порога:

— Можно у вас побыть немного? Мне нужно кое-что выяснить.

— Можно, — ответил аптекарь. — Вы проходите.

Он пропустил Федю вперед, закрыл за ним дверь, повел его коридорчиком, и вот они уже оказались в той половине дома, которую занимала семья аптекаря.

На детской кровати спал маленький мальчик, около него стояла аптекарша Берта Ефимовна и куталась в теплый большой плед.

Федя хотел в окошко взглянуть на улицу. Аптекарь остановил его.

— Нет, лучше я сам посмотрю.

В этот момент у переднего входа зазвенел колокольчик. Кто-то вошел в аптеку — застучали сапоги, раздались простуженные голоса.

Берта Ефимовна заметила у Федя планшет, молча отобрала его и сунула под матрасик спящему мальчику.

Федя смотрел на обеих аптекарей. Кто ж они, что за люди? Кажется, будто они хороши и к тем и к другим. Но так не бывает. Сейчас все станет ясно. И от того, что станет ясно, зависит вся его, Федина, жизнь.

Аптекарь Наум Борисович пошел навстречу гостям, а Берта Ефимовна провела Федю в темную кладовку. Здесь стояли большие корзины и в них — бутылки разных размеров. За одну из корзин она спрятала уполномоченного ЧК.

Отсюда слышно было, что происходит в аптеке, и в то же время это было укрытие.

— Вы проходите, — приглашал аптекарь гостей. — Я сейчас лампу зажгу.

Свет появился не сразу: то ли аптекарь не мог справиться с фитилем, то ли он выигрывал время.

— До вас кто-то пришел? — услышал Федя.

— Нет, вам показалось, — ответил аптекарь.

— Как же нет, когда кто-то пришел, мы же видели сами.

В разговор вмешался еще один голос:

— Ну, ты ж... морда, ты говори, а то сразу прикончим!

Должно быть, сказавший это наставил на аптекаря револьвер — вдруг воцарилась глубокая тишина.

— Вы тут сидите, все будет хорошо, — прошептала Берта Ефимовна и пошла в переднее помещение.

Федя смотрел ей вслед. Плед, накинутый на плечи, придавал ей уютный домашний вид, но с каким достоинством, как спокойно она шла навстречу беде!

— Скажите, что вы хотите,— услышал Федя ее мягкий, негромкий голос. Как безмятежно и вежливо он звучал — ни тени волнения.

— Мы тут видели, кто-то до вас заскочил,— ответил один из бандитов.

— Ну, что вы,— удивилась Берта Ефимовна.— Если хотите — проверьте!

В это время в аптеку вошли еще два бандита, наверное, здешние, шуровские. Оба они поздоровались с Наумом Борисовичем и Бертой Ефимовной, потом обратились к своим:

— Ну, как тут дела?

— Сейчас будем делать обыск.

Федя насторожился, достал из кобуры пистолет, нащупал в карманах гранаты — живым он сдаваться не должен и бежать уже поздно: дом, конечно, оцеплен. Но аптекарей жаль. Все это кончится плохо для них. И мальчик спит рядом — может испугаться во сне. Как же поступить?

В это время один из бандитов, конечно шуровский, обратился к Берте Ефимовне:

— Берта Ефимовна, дайте мне честное слово, что здесь никого нет.

— Чем сомневаться, вы лучше проверьте,— спокойно повторила Берта Ефимовна.— Вы же знаете у нас все закоулки, Василь.

Голос ее звучит устало и сонно, но без раздражения.

— Да, я все у вас знаю, Берта Ефимовна,— вдруг говорит бандит, и в голосе его даже тепло.— Раз она каже нэма — значит, нэма,— решительно объявляет он.— Идемте.

— Пусть он — так его так — спирту, хоть даст! — снова раздался грубый простуженный голос.

— Это вот можно,— с готовностью ответил аптекарь.— Когда это есть, так тут ничего не попишешь.

Федя слышит, как открывается дверца аптечного шкафа, как звенит стекло, как булькает жидкость — должно быть, аптекарь разливает спирт.

И вот гости наконец покидают аптеку. Слышно, как тяжело стучат их сапоги.

Дзинь! — вздрагивает колокольчик, повешенный у входных дверей. Дзинь!

За домом слышится конский топот. Уехали!

— Выходите из своего укрытия, — говорит Феде Берта Ефимовна. — Будем ужинать. А потом будем спать. Куда уж сегодня вам?

Теперь Федя знает, что за люди аптекари.

Дорого обходится истина, но истина стоит того.

Феде не хочется подводить этих славных людей. Поужинав с ними, он сразу уходит.

15

Сотник Левченко продолжал свой опасный путь. Кое о чем он мог бы уже доложить тем, кто его послал. Какой-то активизации отрядов он, конечно, добился, но это так мало по сравнению с теми задачами, которые он ставит перед собой.

Сотник был слишком самолюбив, чтоб посылать такое скромное донесение, слишком горд, чтоб в этом донесении что-то преувеличить. Нет, он совершит нечто серьезное, и за кордоном увидят, что выбор недаром остановился на нем. У него все еще впереди.

А пока он шел от одной явки к другой, в одно кольцо связывал разбросанное подполье.

Сейчас его путь лежал на Луговую, к Максименко, украинскому эсеру, которого Левченко знал лично по Киеву, где они оба были во времена петлюровщины.

Максименко работал телеграфистом. Это был солидный положительный человек, довольно начитанный, за кордоном его считали возможным кандидатом в будущее украинское правительство; нужно было заигрывать и с народом.

Прежде чем направиться на Луговую, эмиссар поручил Андриюшенку установить, что телеграфист Максименко, работающий на железнодорожной станции, действительно тот Максименко, который жил прежде в Киеве, уточнить его адрес, а также часы дежурства на станции.

Добравшись до Луговой, Левченко пошел на станцию, в окошечке под вывеской «Телеграфист» увидел Максименко и сразу узнал его. Максименко ничуть не изменился: все те же красивые седые усы, та же величественная

осанка, достоинство в каждом жесте. Этот скромный телеграфист из небогатой семьи потомственных почтовых работников поистине был рожден для какого-то важного представительства.

Максименко тоже узнал Левченко, приветливо улыбнулся ему, договорился, чтоб его заменили, и повел гостя домой.

В домике, окруженном садом, было тепло, чисто, уютно.

Левченко приняли здесь с тем радушием, в каком нуждается человек, прошедший десятки верст по непролазной грязи — сначала его усадили у печки, а потом, после недолгих сборов, гостя повели к столу: подавала младшая дочка Максименко, улыбочивая красивая девушка. Перед гостем поставили, по украинскому обычаю, яичницу, сало, моченые арбузы и, конечно, наливку, подали ему чистый рушник, расшитый красными петухами. Здесь все было, как прежде. Эта славная украинская семья, видно, ничего не утратила в буре пролетевших событий из добрых старых традиций. Три другие дочери хозяина в столовую входить не решались, но время от времени заглядывали то одна, то другая в дверь и потом перешептывались и смеялись над чем-то за стенкой.

Левченко себя почувствовал дома.

Он был уверен в успехе и не хотел спешить с деловым разговором — мог же он дать себе хоть час передышки. Да и начинать разговор при девушках, наверное, не стоило.

Разговор за столом шел мирный и неторопливый. Левченко расспрашивал Максименко о его хозяйстве, о дочерях. Максименко не забывал угощать его и охотно рассказывал:

— Живу, видите, хорошо, сад имею, пчел развожу, дочки растут... Хочу их всех замуж выдать за хороших людей. Пекусь о них сам, жена у меня умерла, оставила их на меня.

— Дочки у вас хорошие, — похвалил хозяина Левченко. — Вспомните после победы: и я ведь жених.

— После победы? — переспросил хозяин, и в голосе его гостю почудились сдержанность и настороженность: сразу, словно кто-то убавил тепло, которым он окружен был в этом гостеприимном доме.

Левченко постарался побороть в себе это мимолетное ощущение: что грешить, давно уже его не принимали нигде с таким радушием, с таким живым интересом.

Максименко должен был снова идти на дежурство. Когда он вернулся, дочери его, подавшие гостю ужин, даже посидевшие с ним — все четверо! — и еще после этого долго шептавшиеся о чем-то за стенкой, давно уже спали. Успел отдохнуть и гость.

Теперь было самое время для деловых разговоров.

— Как же вы нам помогаете? — спросил хозяина Левченко.

— Кому это — вам? — Максименко приподнял свои седые мохнатые брови.

— Я ориентации не менял. Я был и есть убежденный украинец, — строго и в то же время приподнято произнес Левченко. — Думаю — вы такой же.

— Да, я украинец, — ответил хозяин, — но если бы сейчас меня пригласили эсеры, я бы к ним не пошел.

— Почему?

— А что это даст Украине?

— Григорий Назарович, мне ли повторять вам такие простые истины, — с досадой сказал Левченко, поднимаясь с дивана — хозяин тоже стоял. С тех пор как меж ними возник этот непростой разговор, он уже не чувствовал себя здесь как дома. — Мы же боремся за самостоятельную Украину.

— Была Украина и самостийной и гетманской. Что ж она видела? Море страданий и крови.

Левченко не мог не заметить, что Максименко почти повторяет Крука — старые, уставшие люди, они уже сходят с круга борьбы, нужно искать новых людей.

— О, Григорий Назарович, — сказал он с сожалением и даже с сочувствием, — вижу, вы совсем уже сделались большевиком. Наверное, за вашими дочками ухаживают коммунисты.

— Нет, это ко мне не пристанет, — твердо сказал Максименко. — Но и от украинского националистического движения я уже отошел. Это бесплодно. Или, может быть, я уже стар, хочу побыть в стороне. Что у петлюровцев было, я уже видел. Теперь посмотрю, что получится у большевиков.

— Нет, вы еще не знаете, на что способны петлюровцы.

— Можно догадываться об этом, если у них поднялась рука подписать договор с панской Польшей. А впрочем, что было, видели, что будет, посмотрим.

Левченко решил, что время бросить последнюю карту.

— А вам-то прочили пост в будущем правительстве Украины.

— О, пост этот уже не по мне, — сказал Максименко печально. — Выше залезешь — больней упадешь. — Максименко задумчиво посмотрел на молодого гостя, добавил с неожиданной теплотой: — Вы мне нравитесь. Но мне искренне жаль вас. Неблагодарное дело взвалили вы на себя.

— За что же меня жалеть?

— Вы настоящий человек, честный и убежденный борец. А среди наших казаков слишком много ворюг и бандитов. Что же касается тех, кто вас послал, — вы их знаете сами.

Левченко ничуть не смягчило признание его личных достоинств.

— Это — слова, — ответил он резко. — Конечно, лучше иметь садик, пасеку и дочерей, искать себе зятей-коммунистов, чтобы другие подставляли свои головы за честь нашей родины.

— О вашей голове я и тревожусь, — произнес негромко Максименко.

Левченко подошел к окну, взглянул на улицу: было темно и сыро.

— Ну, мне пора, — сказал он решительно.

— Что ж, на ночь глядя? — спросил хозяин.

— Надо идти. Вы, чего доброго, еще выдадите меня большевикам.

— Знайте вы, человеке, что большевикам я вас не выдам. На помощь мою рассчитывать вам не стоит, но здесь вы в безопасности. Давайте ложиться спать. Мне с утра на работу, вам — отправляться в путь.

Хозяин ушел в соседнюю комнату и так и не уснул до утра, а Левченко, сделав усилие над собой, заставил себя уснуть — ему нужны были силы.

Утром он отказался от завтрака, вышел на улицу затемно, с презрением, даже с брезгливостью оглядел этот маленький аккуратный домик, где только вчера вечером ему было так хорошо и, на всякий случай покругив по Луговой, вышел, наконец, в открытую степь.

Влажный холодный ветер неся навстречу ему — стояла уже поздняя осень. Он чувствовал себя упругим и молодым — он инстинктивно отталкивал от себя мудрость и старость человека, с которым встретился.

Человек был потерян. И эта потеря была досадной. На слово Максименко можно было бы целиком положиться, если бы оно, это слово, было дано.

Но руки у Левченко не опускались — он был не из тех, у кого так быстро опускаются руки. Он знал, что едет сюда не на праздник. Это война, а на войне возможны и неудачи.

За этого одного человека, потерянного для Украины, большевики ответят, должны ответить многими жизнями. Счет нужно вести точно и аккуратно, не откладывая расплаты.

Он решил немедленно вернуться в отряд.

16

Снова одним праздничным днем промчалась неделя.

Федя решил, что не должен отталкивать Марию Кузьменко. Мог он, конечно, к ней и не ехать — силы на это у него бы хватило, так, во всяком случае, он считал, но ему показалось, что в интересах дела все же лучше поехать. И вообще, зачем обижать хорошего человека?

На этот раз Мария ждала его так, как ждут званных гостей: стол был накрыт по-украински, припасла она и бутылку домашней наливки. Если бы Мария с первого раза приняла его так, это его бы насторожило. Теперь они встретились уже как друзья, и праздничный стол Федю ничуть не смутил.

Зойку он привязал, как и прошлый раз, рядом с домом; Мария предложила ему отвести ее на конюшню к соседу, но Федя привык не разлучаться с конем. Он вышел, отпустил немного подругу — лошадь с дороги еще не остыла, и он решил ее пока не поить и не кормить.

Мария оказалась не навязчивой, но гостеприимной хозяйкой. Федя немного выпил и чуть закусил, чтобы ее не обидеть.

— Всегда-то вы ремнями затянуты, всегда при оружии, — сказала она. — Хоть бы когда-нибудь дали себе свободу. Не надоело еще вам это?



— Нет, не надоело пока, — ответил Федя. — А когда-нибудь, может быть, время такое будет, приеду к вам без оружия.

Мария снова сняла со стены гитару и спела.

Когда он стал собираться ехать, она сказала, что зря он спешит: посидели бы, а потом она ушла бы к соседке, его бы оставила здесь. Это было заманчиво, но это, пожалуй, уж лишнее...

Зойка по-прежнему стояла привязанная у дома. Федя время от времени выходил посмотреть на коня: расседлывать Зойку он так и не стал.

Это хорошо, что его здесь так принимают, а все же он тут один как перст, только и есть у него тут что конь. И ночевать он здесь, конечно, не станет. Ему уже не сиделось почему-то с Марией Кузьменко.

Он вышел еще раз во двор — теперь уже можно было и напоить коня — и увидел, что Зойка повернулась к воротам.

У коня, когда он чует опасность, поднимаются уши, это Федя давно уже знал. Зойка стояла напряженная, устремленная вся вперед, словно слышала что-то такое, чего Федя не слышал.

Ой, что-то не так!

Зойка немо глядела ему в глаза, теперь повернувшись в его сторону; вдруг что-то как толкнуло его: не возвращаясь за шапкой в комнату, он быстро подтянул подпругу, отвязал коня и в это время услышал то, что мгновением раньше слышала только Зойка, — издали доносился топот. Он вскочил в седло, вылетел со двора, помчался улицей и обернулся назад только уже за селом, на пригорке: к дому учительницы скакал конный отряд. Еще

мгновение, и конники окружили дом, где он только что был.

Федя пришпорил коня, бросился в степь, снова услышал топот — его искали.

Балочка прикрыла его — конники пролетели в сторону, мимо, а он уже выбирался балкой к лесочку.

Вот так учительница, вот так Мария Кузьменко! Так вот зачем она оставляла его у себя — иначе с чего бы бандиты стали окружать ее дом!

А сам-то он как хорош! Учил Ваню Лазаренко, а первый попался.

Стыдно было Феде Панько признаваться Яше Березню в том, что случилось. Стыдно, а надо! В ЧК должны знать, что за учительница Мария Кузьменко...

Разговор состоялся на следующий вечер в Яшином



общежитии: на счастье, ни коммунаров, ни приемного сына не было дома.

Федя застал Яшу за необычным занятием: Яша в одних трусах, босой стоял посреди комнаты и поднимал высоко над головой огромные чугунные гири. Лицо его при этом было свирепо. Вот уж не думал Федя, что Яша будет тратить на это время!..

Когда он выразил свое удивление, удивился и Яша:

— А как же ты думал? Что ж я за чекист, если у меня не мышцы, а тряпки! А ну-ка, давай сюда руку.

Федя протянул ему руку и от неожиданности чуть не вскрикнул от боли: никак он не мог представить себе, что у Яши такая хватка.

— А ты думал, я только книжки читаю? — спросил его Яша и снова взялся за гири.

Теперь Яша казался Феде еще более удивительным человеком, чем до этого. Тем тяжелее было для него предстоящее объяснение.

Когда, дождавшись конца упражнений с гирями, Федя присел на краешек Яшиной койки и признался Яше в том, что случилось, тот, как ни странно, не удивился.

— Ладно, хорошо, что сказал, а теперь молчи. Кузьменко пока трогать не стоит. Пусть ее... Время придет...

17

В Шуровке шла партийная чистка. Членов партии в Шуровке семь человек, а собралось в сельском клубе человек двести, а то и все триста.

Шли на чистку по-разному — одни из сочувствия, другие из любопытства, третьи с затаенным злорадством: «Вот там их почистят, там им покажут».

По-разному в те годы проходили партийные чистки. Можно было подняться и обозвать товарища обидным словом «интеллигент» за то, что он носит галстук, и товарища могли взять под сомнение.

И в Шуровке были такие, кто хотел бы встать и сказать кое-что... Толкали друг друга в бок: «Ну, ты, давай...» — «Нет, ты сначала давай».

Так и не выступил никто, кроме комиссии, которая задавала коммунистам вопросы. Один только состоявший когда-то в эсерах дядька с места вздохнул:

— Эх, можно было бы высказать богато интереснейших мыслей, и есть у меня те мысли, та не могу сказать, потому што што ж...

И он выразительно покосился на уполномоченного ЧК.

— Ну, а не можете, так что ж говорить,— спокойно ответил ему товарищ Дубок, председатель уездной комиссии, проводивший партийную чистку.

Чистку кончили, и комиссия уехала раньше, чем предполагалось,— Дубок торопился в село Чуровое.

Федя после собрания пошел пообедать — его по-прежнему всегда ждал обед у того самого дядьки, с которым он ехал впервые в Шуровку.

Хозяйка уже поставила перед ним горшок с постным, но зато горячим борщом, а хозяин пристроился напротив — видно было, что сегодня ему хочется порассуждать.

Последний их разговор касался вопросов веры. Хозяин высказал предположение, что отец Вавила не верит в бога. Хозяйка пугливо перекрестилась:

— Ох, ты, не грехи, язык не погань! В кои веки в нашем приходе порядочный батюшка — не пьет, денег не тянет — и тут уж надо язык чесать.

— Порядочный он, это да,— согласился хозяин, — а вот в бога не дуже верит.

— Откуда ж это тебе известно? — всплеснула руками хозяйка.

— Как зашел слух, что в Киеве обновились иконы, его спросили про это, он улыбнулся себе в усы и сказал: «Ну, раз говорят, что обновились, значит, так это и есть». А сам смеется глазами. Видно, что нет у него в это веры.

— Это у тебя у самого нету веры,— рассердилась хозяйка,— вот ты и сквернишь язык.

На этот раз речь зашла не о священниках, а о коммунистах.

— Чистка чисткой,— сказал хозяин, хитро прищурившись и потерев свою небольшую бородку,— на чистке ясно никто ничего не скажет, ну а вообще-то многие умные люди считают так: Советы надо оставить, а коммунистов побить.— И он испытующе поглядел на Федю: мол, что ты на это скажешь?

Федя, в свою очередь, испытующе поглядел на дядьку и широко улыбнулся: нет, не станет этот бить коммунистов, что бы он там ни нес.

— Зачем же тогда оставлять Советы?

— Советы трогать не можно,— ответил хозяин с чувством,— Советы землю дают.

Они сидели за столом у окна и вдруг одновременно, как по команде, взглянули в окно: мимо дома мчался конный отряд. Стоял полнолунный вечер, и всадники были видны совершенно отчетливо.

Хозяин вышел на крыльцо, поглядел всадникам вслед и вернулся встревоженный:

— Бандюки это. Поскакали к отцу Вавиле. За вами они — не иначе.

Федя вскочил, схватился за кобуру и уже бросился было к двери.

Хозяин остановил его:

— Обождите. Я вам дам свитку.

Он принес крестьянскую свитку, шапку, Федя поверх гимнастерки накинуд свитку и нахлобучил шапку.

— На дядька похож?

— А может, в сарае у меня перебудете?

С того края, где жил Демченко, раздалась стрельба.

— Нет, я должен идти.

Федя спустился огородом к оврагу и вдоль речки, вербами, побежал туда, откуда стреляли.

Когда он приблизился к дому Демченко, стрельба прекратилась.

Улица перед домом была безлюдна. На крыльце, спрятав в колени непокрытую голову, неподвижно сидела женщина.

Федя подошел ближе и понял, что это жена Демченко. С тех пор как она приехала в Шуровку, Федя видел ее только дважды — она показалась ему совсем молодой и красивой. Сейчас перед ним сидела седая женщина.

— Где Демченко? — спросил он, страшась услышать ответ.

Женщина подняла на мгновение голову и показала рукой в сторону дома.

Теперь только Федя заметил, что с окна сорваны ставни с оконным переплетом — наверное, ломом.

Он подошел к черному проёму окна, заглянул в дом и увидел распростертое на полу тело.

Это был Демченко.

Женщина сидела не шелохнувшись, все так же уткнувшись головою в колени.

Из-за дома вышел хозяин и несмело, даже ворозато, как показалось Феде, приблизился к уполномоченному ЧК.

Волнуясь, он начал рассказывать о том, что здесь произошло.

— Я же ему кричу: «Да вы славайтесь, выходите, куда вы одни против них». А он: «Я живым лучше отсюда не выйду, а славаться не буду». Жинку выслал из дому — она не шла. Он как прикрикнет (она ведь ребеночка ждет), ну, а сам вот тут вот в простеночке между окон стал и стреляет. А они дом оцепили и тоже стреляют в окна; только достать его не могут никак. Тогда они гранатами его закидали.

Хозяин рассказывал и заискивающе заглядывал в глаза уполномоченного ЧК.

В этот же вечер Федя узнал и о том, что произошло в новом доме на Шуровских выселках, где жил со своей семьей Иван Ковальчук. Едва Ковальчук после чистки доехал до дома, перед самой дверью его окружили конные, и кто-то из них выстрелил в него из нагана. Он успел только крикнуть, уже рухнув на землю:

— Все равно мы вас переловим!

Ему ответили:

— Ты нас ловить не будешь!

За этим последовал еще один выстрел.

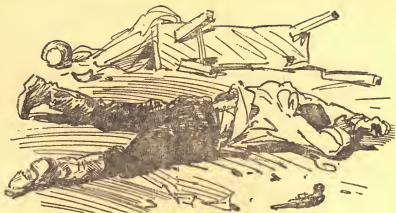
Из дому выскочил старший сын Ковальчука, десятилетний Ваня, бросился к лежавшему на земле отцу и, получив по спине тяжелый удар, очевидно прикладом, упал на отца.

А из сарая уже выводили телку, она упиралась, не хотела идти. Кто-то из храбрецов не пожалел и на нее боевого заряда, телка свалилась тут же, невдалеке от Ковальчука и его сына. Даже на мясо она была не нужна бандитам, а пусть теперь семья Ковальчука проживет как знает.

В доме плакали двое маленьких, испуганных выстрелами и шумом. С трудом поднялась с постели и добралась по стенке к двери больная жена Ковальчука, чтобы увидеть своими глазами беду.

Так в один вечер в Шуровке стало две новых вдовы.

А Федю Панько искали в доме отца Вавилы. Перерыли ящики его письменного стола, забрали газеты, записи



о населенных пунктах, мандат на партконференцию и, взбешенные тем, что чекист опять им не дался, выволокли, несмотря на уговоры матушки, письменный стол на двор и, разрубив его на куски, тут же сожгли.

Отец Вавила, конечно же, знал, куда направился Федя Панько, но он не выдал своего квартиранта.

Много позже Феде стало известно: налет, совершенный бандой, был приурочен к чистке; бандиты думали застать здесь Дубка, видного коммуниста на Нижнеярье, но чистка кончилась раньше, чем полагали. Дубок, не задерживаясь, уехал в другую волость, и удар приняли на себя Демченко и Ковальчук.

Телефонная связь оказалась нарушенной — это тоже было делом бандитов, как и ограбление почты и поджог здания волисполкома.

Федя, удрученный тем, что случилось, поехал в соседнюю волость, чтобы по проводу связаться с ЧК.

Яша Березень, прочитав телеграфную ленту, попросил Панько обождать у аппарата и через несколько минут передал:

«В ваше распоряжение с Луговой отправляется кавалерийский эскадрон. С этим эскадроном преследуйте банду до полного ее уничтожения».

Через несколько часов эскадрон прибыл в Шуровку. Лошади в эскадроне были крепкие, сытые, седла — в исправности, бойцы одеты по форме.

Федя тоже сел на коня и почувствовал себя в конном строю так, как если бы вернулся из долгих странствий на родину.

Он был уверен: с такою силой он разыщет банду хоть под землей.

Снова начались дни в седле — дни погони за бандой. Размещались порой по хуторам, по селам, где только что останавливались бандиты; Федя занимался разведкой, а политрук эскадрона собирал у завалинки мужиков и рассказывал им о том, что подразверстка заменяется продналогом, рассказывал им о нэпе, о том, что для села начинается новая жизнь.

В одном селе Феде сказали, что двое бандитов скрылись на хуторе. Бандитов поймали, допросили, отправили в УЧК. Но не ради же этого скакал эскадрон по размытым дорогам!

Наконец под вечер в хату, где остановились уполномоченный и политрук эскадрона, постучался невысокий дядько с бородкой, с реденькими седеющими усами.

— Товарищи командиры, — сказал он, сняв шапку и поклонившись, — что ж это вы банду никак не побьете?

— Видно, она вам не мешает, раз вы ее так скрываете, — усмехнувшись, ответил Федя.

— Очень еще, товарищ командир, ты молод, чтобы понять, какое они мне лихо сделали, — с досадой сказал дядько, но в объяснения вдаваться не стал. — Вы-то где были?

Федя растерялся, не зная, что отвечать. Гость подошел к столу, за которым сидели политрук и уполномоченный, оглянулся вокруг.

— Больше нет никого? Ну так я вам скажу. Они — в Сергеевке. Там у них сборный пункт.

До Сергеевки было недалеко. Федя знал это село, изрезанное оврагами, заросшее боярышником, с хатами, далеко отстоящими одна от другой. Сергеевка имела особую славу: советских работников там принимали с хлебом и солью, а потом их находили на дне реки с камнем на шее.

Что ж, Сергеевка так Сергеевка! По крайней мере это похоже на правду.

Гость еще раз, из осторожности, осмотрелся, нет ли кого лишнего в горнице, и добавил:

— Их там сейчас пятьдесят шесть человек.

Что ж, эскадрон насчитывал восемь десятков сабель. Дядько приблизился вплотную к столу и сказал:

— А еще я знаю, в какой хате главарь стоит. Церковь там, потом еще одна хата и хата под белой железной крышей.

— Ты с нами поедешь? — спросил его Федя.

— О, не. А вы ж меня слушайте: церковь, хата и хата под белой крышей.

— Ну и на том спасибо.

Сергеевка далась нелегко. После жаркой сабельной рубки, которая разгорелась у хаты под цинковой крышей, бандиты вынуждены были покинуть село.

Эскадрон преследовал остатки банды, рассеявшейся по степи, потом вернулся в Сергеевку. Вдруг как из-под земли в хате, куда зашли уполномоченный и политрук, появился все тот же крестьянин.

— Трохи втикло, трохи вбито. Так бы всегда, — подвел он итоги.

Федю кольнуло: Онисько! Что же с Онисько? Неужели он тоже убит или ранен?

Мужик постоял и добавил:

— У балки все же еще есть бандиты.

Откуда у него были такие сведения? Что не давало ему покоя? Что толкало его? Задавать сейчас эти вопросы было не время.

В овраге бандитам был навязан еще один бой. Снова они обратились в бегство, и снова эскадрон преследовал их, прежде чем вернуться в Сергеевку.

Вечером следующего дня в хате, где находились политрук и уполномоченный, появился еще один гость.

Это был худощавый мальчик-подросток в плохонькой свитке. Обеими руками он прижимал к груди туго набитую кожаную командирскую сумку.

Когда Федя поздоровался с ним и спросил, что ему нужно, он молча протянул ему сумку.

Федя раскрыл сумку и не поверил удаче: она была набита какими-то донесениями и принадлежала, видимо, одному из главарей шуровской банды.

— Где же ты ее нашел?

— Та в овраге, в кустах.

— Когда ж?

— Утром, как бой прошел.

— Нашел ее утром, а принес только вечером?

Федя взглянул на мальчика и, уже поняв ту борьбу, которую тот выдержал с собой в этот день, улыбнулся:

— Что-ж так?

Мальчик стоял, потупившись.

— Сумка? — спросил его Федя.

— Да, — тихо ответил мальчик.

Это неважно, что Федя вырос на руднике. Он знал, что значит для крестьянина кожа. Такая большая сумка — это ж богатство. Промаялся малец день и все же принес.

— Ох ты, сыночек, — сказал вдруг Федя, почувствовав себя в свои девятнадцать лет давно уже взрослым, — ох ты, сыночек, да мы дадим тебе сумку. Можем мы ему еще две таких сумки дать? — спросил он политрука.

Через несколько минут старшина эскадрона внес в хату две переметные сумки и в придачу еще крылья, снятые с седла, захваченного у бандитов.

— Вот, бери себе это. И спасибо тебе.

Растерянный мальчик не знал, что ему делать с этим добром, переминался с ноги на ногу, не решаясь взять дары и уйти, а Федя уже нетерпеливо разбирал бумаги.

Вдруг он оторвался от этого занятия и внимательно посмотрел на мальчика.

— Мог бы ты показать место, где нашел эту сумку?

— Могу. Я там ягоды всегда собираю.

— Ну, идем тогда с нами!

Мальчик нерешительно шагнул и остановился.

— Можно, я тут сумки пока оставлю, а вечером за ними зайду?

— Можно, конечно, можно.

Мальчик повел Федю и политрука огородами вдоль речушки на край села, затем свернул в высокий кустарник и, пройдя метров сто, остановился около заросли боярышника, густо усеянного темно-красными ягодами.

— Оце тут сумка лежала, — сказал он, показывая на чуть примятую, уже высохшую траву.

След копыт шел в сторону еще более густого и высокого кустарника, примыкающего к молодому лесочку.

Мальчик остановился и показал рукой в другую сторону:

— Смотрите, там что-то чернеется.

За кустами, повернувшись лицом к земле, лежал человек в темной одежде. Руки его судорожно ухватились

за землю. К новым, совсем еще, видно, не ношенным сапогам, были прицеплены начищенные, блестящие шпоры.

Труп повернули. На лбу его видно было пулевое отверстие. На левом плече теплого пиджака остался след ремня примерно такой же ширины, как ремень найденной сумки. Карабин, шапка и маузер с полным зарядом в деревянной коробке говорили о том, что это не рядовой бандит.

— Что же все это значит? — медленно произнес Федя.

— Что? — спросил политрук.

— Ладно, поговорим потом, — неопределенно ответил Федя.

В деревню вернулись вечером. Мальчик забрал сумки и ушел домой. За трупом отправили трех бойцов. На другой день его выставили в селе для опознания. Люди приходили, с опаской косились на труп, но никто ничего не говорил. Казалось, этого человека боятся и мертвым. Так он и не был опознан, пока опять не пришел мальчик, нашедший сумку.

— Это — сам комендант банды, — сказал он шепотом Феде, — страшный насильник. Все довольны, что он убит, но не решаются его признавать.

— Что ты хотел сказать мне в кустах? — спросил политрук, когда мальчик вышел из хаты.

Федя на вопрос ответил вопросом:

— Ты замстил, с какого расстояния произведи выстрел?

— Судя по пулевому отверстию — с небольшого.

— То-то и оно. Его убили не наши бойцы. Наши бы увидели сумку и принесли ее нам. А тут кто-то снял с него сумку и отложил ее в сторону.

— Кто ж это?

— Да поживем — узнаем.

Такой удачи еще никогда не было у Феи Панько. Каждым своим листком сумка выдавала такие тайны, от которых у молодого чекиста захватывало дыхание.

В одном из донесений сообщалось, что не нужно трогать фининспектора Передерия и волостного военного комиссара Рутенко.

В другом указывалось, что в организацию завербовано еще два человека: надежные хлопцы, если надо, могут

прийти в отряд со своими конями. Тут же говорилось о том, что работающий в больнице фельдшером старик Аверьянов слаб насчет самогона.

Донесения отражали всю хронику шуровской жизни: уполномоченный УЧК живет у отца Вавилы, бывает на занятиях драмкружка, на девчат не смотрит. (От этого неожиданного комплимента Федю, читавшего документы уже в волисполкоме, бросило в краску: он-то знал про себя, что это не так, но хорошо, если наши слабости неизвестны врагам.) Демченко и Ковальчук нашли ямы с зерном и весь хлеб отобрали. Демченко отправил обратно масло, которое ему принесли; к нему приехала жинка-учительша, дуже гордая, пробовали с ней говорить — слушать не хочет, и в одном из донесений как вывод: этих троих (очевидно, имелись в виду Демченко, Ковальчук и Панько) нужно убрать, «бо дышать уже не можно».

Из документов можно было понять, что возглавляют шуровскую подпольную организацию Лихояр и Сорока — их подписи стояли под всеми донесениями из Шуровки. Правда, они были неразборчивы, но ни одна другая из фамилий, имевшихся в Шуровке, под эти подписи не подходила. Только какой Лихояр и какой Сорока? В Шуровке проживало много и тех и других.

Многие донесения были написаны на листке розовой писчей бумаги в синюю линейку. Где-то уже видел Федя Панько такую бумагу — где, он не помнил, но был уверен, что вспомнит.

Федя дочитал до конца все донесения, аккуратно сложил их в планшет — нужно было немедленно отправлять все это с нарочным в УЧК.

Теперь нужно было, не теряя времени, выяснить, какой же это Лихояр и какой Сорока.

Федя зашел в комнату к секретарю волисполкома, тоже носившему фамилию Сорока, и попросил у него подворные книги по Шуровке. Тот, как всегда, встретил его приветливо, с открытой улыбкой, но удивился:

— А на что они вам?

— Да так, посмотреть.

Две подворные книги Сорока разыскал в старом шкафу с отломанной дверцей, третью нашел в ящике своего не менее ветхого письменного стола. Когда он выдвигал этот ящик, Федя заметил листы розовой писчей бумаги

в линейку и сразу вспомнил: конечно же, как раз на такой бумаге Сорока писал ему когда-то записку к отцу Вавиле. И именно на этой бумаге были написаны и донесения в банду.

Неужели же это было так просто? Неужели бандиты были так безграмотны и наивны в делах конспирации? Федя был даже, пожалуй, разочарован. А может быть, это совсем не наивность, а слишком большая уверенность в собственных силах?

Федя взял подворные книги и сказал Сороке:

— Идем за мной.

Тот побледнел, но ни о чем не спросил и вышел за ним. Федя пересек улицу и направился с Сорокой в дом, расположенный против волисполкома.

— Теперь выкладывай, — решительно сказал Федя, когда они оказались в комнате начальника милиции.

Сорока растерянно посмотрел на него и сказал:

— О чем вы? Я вас не пойму.

Тогда Федя достал из планшета донесение на листке розовой писчей бумаги — одно, наименее интересное, он оставил себе, все остальное уже отправил с Ваней Лазаренко в ЧК.

— Ты писал?

Сорока испуганно посмотрел на бумагу и отчаянно замотал головой:

— Что вы, что вы, зачем это мне, у меня ведь невеста!

— А Лихояр какой?

— Я ничего такого никогда не писал. И Лихояра не знаю вашего. Лихояров много в селе, да я тут при чем? Делайте что хотите. Я ничего не знаю.

Должно быть, он выигрывал время, на что-то надеялся. А Федя, разговаривая с ним, время терял.

Меж тем работник милиции выписал ему по подворным книгам всех Лихояров и всех Сорок. Лихояров в селе оказалось двенадцать, Сорок — восемнадцать.

Была уже ночь. Утром в милицию были вызваны все проживавшие в Шуровке Лихояры.

Одиннадцать Лихояров явилось, не пришел только Лихояр — ветврач. Ночью он бежал куда-то из Шуровки. Так он и выдал себя — на Сороку, видно, не понадеялся.

Так вот оно что! Значит, недаром Федя сторонился его, отводил его приглашения, хоть потом и казнил себя за излишнюю осторожность.

Значит, недаром Лихояр приманивал его самогоном, девушками, думал, должно быть, потеряет на вечер голову уполномоченный УЧК, тут его будет удобно и вовсе лишить головы. А коня испортить все-таки не решился! Не так он был глуп. Да и вообще глупым его не назовешь.

Сороку Федя решил оставить пока в милиции: теперь, после исчезновения Лихояра, не могло быть сомнений в том, что этот Сорока и есть тот Сорока, который вместе с Лихояром подписывал донесения из шуровского подполья. Что же еще, кроме ареста Сороки, заставило бы ветеринара бежать?

Словом, сорока была в руках, но Федя хотел поймать и журавля. Он взял с собой двух человек из милиции и направился на поиски Лихояра. Кто-то видел его скакавшим на хутор к югу от Шуровки, кто-то видел, как от этого хутора он повернул на запад, а куда — никто не приметил. Ветеринар всюду был нужен, всюду его ждали, всюду его вызывали. Он ездил обычно по всей округе, и никому это не могло показаться странным, потому никто и не обратил внимания на то, в какую сторону он свернул.

След его скоро совсем затерялся, и Федя, не привыкший еще к неудачам, в Шуровку возвращался довольно обескураженный. Было досадно: ветврач, человек совершенно штатский, провел его, боевого чекиста! Как он доложит об этом Яше Березню?

Но то, что ждало его в Шуровке, было еще досадней: пока он гонялся за Лихояром, выпустили из-под стражи Сороку. Рассказывали, что он попросился по естественным надобностям, а сам побежал; в него стреляли, но пощасть не смогли.

Это уж было совсем ни на что не похоже! Ни журавля в небе, ни сороки в руках!

Дни и ночи, злой на себя и на милицию, Федя скакал по округе в поисках следов убежавшего.

Люди уже знали о том, что арестован и бежал из милиции Сорока, секретарь волисполкома. На четвертый день Федю разыскал паренек лет шестнадцати, сын одного бедняка, дружившего с Ковальчуком. Он сообщил, что Сороку видели в доме его двоюродных братьев, на Шуровских выселках.

Федя взял с собой из милиции пять человек, среди них и того, в чье дежурство Сорока сбежал; на двух

тачанках они подкатили к дому, о котором сказали Феде. Дом обыскали, как оказалось, совсем не напрасно: Сороку вытащили из-под печи. Одежда его помялась, лицо было испачкано и уже не казалось Феде приветливым и красивым. Сопротивляться он не пытался.

Оружия при Сороке не было — то ли сейчас он побоялся взять с собою оружие, то ли вообще к нему не привык — в подполье пошел, а к борьбе, видно, был совсем не готов — рассчитывал на легкую жизнь. Видно, при Лихояре он играл ту же роль, что и в волисполкоме, — был его секретарем. «Писарь, словом!» — с презрением подумал Федя Панько, не уважавший бумажной работы. И зачем развели бандиты такую писанину? Но Сорока даже для секретаря был, по мнению Феде, слишком уж недалеко — не спрятать такой приметной бумаги!

Обмякшего Сороку посадили на тачанку. Чтобы не тратить времени, Федя решил разговор с ним вести по дороге.

— Ну что, Петро, скажешь или не скажешь? Хоть и не скажешь, все равно ясно теперь, кто ты и что ты. Рассказывай лучше.

— Что рассказывать?

— Для начала, как ты бежал.

— Сказал, хочу кой-куда, а сам и втик.

— Бреешь. Не так было дело.

Милиционер, упустивший Сороку, сидел на второй тачанке. Сорока заметил его и сказал потерянню:

— И сам не знаю, как я втик.

— Кто же знает?

— А его вы спрашивали?

Должно быть, он хотел знать, что уже знает Панько.

— При чем тут он? Ты сам за себя говори.

Тогда Сорока сказал:

— Я ему пообещал, если он отпустит меня, муки дам на целую зиму.

Федя чувствовал, что и это неправда.

В одном из тех донесений, которые хранились в кожаной сумке, говорилось о том, что в подпольную организацию завербован работник милиции. Он дал Сороке понять, что знает об этом, и показал на вторую тачанку.

— Это о нем идет речь?

— Да! Це вин.

Тогда Федя оставил Сороку на попечение начальника милиции, ехавшего вместе с ними, и пересел на другую тачанку.

— Ну, Степан, как дела?

Милиционер, совсем молодой еще парень, заметно смутился и ответил с деланной бодростью:

— Да ничего. Добре. Поймали же вот.

— А как же ты его пустил?

— Я его не пускал.

— А кто же?

— Так получилось.

— Что получилось?

— А я знаю? Он бегать мастер.

— Он бежал, а ты в это время очи зажмурил?

— Я же стрелял.

— Стрелять-то стрелял, а вот куда? Наверх?

— Как же — наверх?

— Словом, Степан, я уже знаю все, так что говори лучше правду.

— Теперь он может сказать. А я его чуть не убил.

— А из чего ж ты стрелял?

— С винтовки.

— С какой?

— Вот с этой.

— Дай ее мне.

Федя потянул у него винтовку — парень вцепился в нее.

— Дай, я посмотрю на нее. А когда ты будешь бежать, я ее испытаю, как стреляет она. Как в Сороку или получше.

Парень заморгал белесыми ресницами — весь он был белый и бледный, словно на него не хватило красок, — и негромко сказал:

— Ладно. Я все расскажу.

Оказалось, что он жил с матерью и с четырьмя сестренками. Он был единственный кормилец в семье — отец погиб на германской войне, а кормить мать и сестренку ему было нечем. Как-то ночью Сорока привез ему целый мешок зерна, сказал, что это от Андриюшенко. Учителя, Сергея Сергеевича Андриюшенко, Степан читл, помнил его увлекательные уроки, с которых никто из ребят никогда не убегал. Потом Сорока принес ему мяса, сказав, что о семье теперь можно ему не тревожиться —

Андрюшенко берется семьей его прокормить. Степан ответил, что все равно не может идти в отряд — сестренки малолетние, мать больная, они без него даже воды себе не принесут, но Сорока уверил его, что в отряд идти ему и не нужно, пусть здесь останется, может, и здесь он на что-нибудь пригодится. А пока, если будет налет на Шуровку, Андрюшенко просит ему передать: хоть он и работник милиции, его никто пальцем не тронет, пусть будет спокоен.

Так получилось, что Степан оказался связанным с бандой.

В ночь, когда был арестован Сорока, к Степану забежал Лихояр, сказал, что в свое дежурство он должен Сороку выпустить. Об этом-де просит его сам Андрюшенко.

Вернулись в Шуровку. Здесь у волисполкома стояли тачанки. Федя взбежал на крыльцо и в дверях столкнулся с самим Яшей Березнем. Пожалуй, ничей приезд его бы не обрадовал больше — никто не был ему так нужен в этот момент, как Яша.

— Ну, принимай гостей, — сказал весело Яша. — Да я не один — со мной шесть бойцов из отряда ЧК. Ты молодец, такие материалы прислал из Сергеевки! Председатель ЧК тобою очень доволен.

Яша не сказал, что приехал Феде помочь, и Федя был ему благодарен. Почти всю ночь Яша, Федя и Ваня Лазаренко проговорили о деле, которое им предстояло.

Яша привез потрясающие новости. В ночь на четвертое ноября на территорию Украины из-за кордона прорвались крупные банды петлюровцев. Атаман Тютюник занял Коростень, полковник Палий с боями прорвался на Подольно и движется на Малин и на Борожанку. Части Красной Армии отбивают петлюровцев. По всей Украине должно было вспыхнуть восстание, но ЧК повсеместно громит петлюровские организации.

— Очень важно нам разгромить и шуровское гнездо, — закончил Яша.

— Будем стараться, — ответил сосредоточенный Федя. — Здесь есть за что зацепиться.

На следующее утро Яша и Федя вместе допрашивали Сороку. Он уже больше не запырлся. По его показаниям

в Шуровке и на окрестных хуторах было арестовано двадцать участников подпольной организации, готовых в любой момент пойти в банду и с оружием в руках выступить против советской власти.

Началось следствие по делу шуровской подпольной организации. Через несколько дней Яшу вызвали в Нижний Яр, Федя теперь один вел допрос за допросом. Он уже видел, как допрашивал Яша, и старался держаться так же спокойно и терпеливо.

Теперь-то наконец перед ним раскрывалась вторая, тайная жизнь его Шуровки, та, что проходила под покровом ненастных глухих ночей и под защитой клинка, — до сих пор она была ему недоступна, как он ни бился.

Сорока рассказал ему о двух нелегальных сборищах на хуторе Лымаря, где решилась судьба Демченко и Ковальчука — на совещании этом был сам Андриюшенко. Оказалось, что Андриюшенко бывал в Шуровке чаще, чем думал Федя: здесь жила его девушка. Когда стало ясно, что ни с Ковальчуком, ни с Демченко не сговориться, было решено их уничтожить, а заодно и чекиста. Распределили, кому взять на себя Демченко, кому — Ковальчука, кому — Панько, но до этой поры выходило так, что то они ехали не там, где их ждали, то не в одиночку. Андриюшенко со всей строгостью наказал: убивать только тех, на кого есть задание, если особого задания нет, человека трогать нельзя. В советском аппарате было немало таких, кто работал на банду, а если человек и не связан с бандой, то, быть может, вокруг него те, кто использует его в своих интересах. Это, оказывается, затрудняло задачу.

На этот раз надеялись прикончить Дубку, прехавшего в Шуровку на партийную чистку, но с Дубком сорвалось и решили трех остальных, на кого было задание, захватить по домам.

Сорока рассказал кое-что, имевшее отношение к гибели Соловья — Алексея, которого после ранения так усердно лечили в Шуровке.

Это усердие и привлекло внимание банды.

Когда Андриюшенко бывал в Шуровке на подпольных совещаниях, он часто отлучался куда-то. Думали, он ходит к своей девушке: кто она — Сорока не знал. Как случайно стало известно Сороке, он бывал не только у девушки, но заходил и к фининспектору Передерню.

Зашел Андриюшенко к фининспектору и в ту пору, когда в больнице появился раненый Соловей. Жена Передерия — фельдшерица. Видно, он должен был уговорить ее как-то прикончить парня — что, мол, бедняге мучаться понапрасну? Но, должно быть, из этого ничего не вышло. Любовь Ефремовна не знала о связях Передерия с бандой, Сорока был в этом уверен, но что-то, должно быть, казалось ей подозрительным.

Так вот почему она так ходила тогда вокруг Федя! Видно, хотела с ним поделиться своими сомнениями, а он-то, дурак, вообразил!.. Так и не решилась она тогда ни на что, просто бросила мужа и куда-то уехала. Эх, если б он тогда ее понял!..

Когда у Передерия ничего не вышло, Андриюшенко будто сказал: «Значит, судьба жить Соловья. Мне и самому его было бы жаль. Будем надеяться, он никого не выдаст».

Кто же действительно убил раненого, Сорока не знал. Как только в банде стало известно о гибели Соловья, Андриюшенко собрал людей и сказал им:

— Вот как поступают чекисты с теми, кто попадает к ним в плен. Смотрите, в плен не сдавайтесь.

Население Шуровки тоже, оказывается, было уверено, что бандита убили сами чекисты.

Вот какие последствия имела опрометчивость Федя Панько. Все бы сложилось иначе, если бы он отправил тогда Алексея сразу в ЧК! Или хотя бы обеспечил ему охрану на месте... Федя еще раз пережил свою неудачу.

Но кто же на самом деле убил Алексея?

Это и теперь оставалось неясным.

Сорока объяснил, зачем понадобились такие пространственные донесения: ведь встречались и лично, можно было обойтись без писанины. Те, кто платил организаторам подполья, оказывается, требовали от них подробнейшего отчета: ставка головного атамана должна была иметь донесения как документацию, подтверждающую реальность националистического движения на Украине. Под донесениями ставились подлинные фамилии, потому что актив подполья должен был после победы петлюровцев стать во главе новых местных властей. Кандидаты в «герои национального освобождения» боялись затеряться для будущей славы.

Взяты были под стражу Филимон Передерий и другие участники организации, пробравшиеся в советский нчз-овой аппарат. Во избежание бед из Нижнего Яра в Шуровку прислали отряд конной милиции.

Через неделю Федя Панько торжественно въехал в уездный центр. Нижнеярские обыватели пугливо оглядывались на растянувшуюся процессию: впереди на рослом коне ехал молодой высокий начальник, для начальника, может быть, слишком худой, но зато отлично державшийся в богатом, трофейном должно быть, седле, за ним двигались конные, затем обоз с арестованными и снова конный отряд.

19

А под железной кровлей, прикрывавшей распятие, что у криницы, уже лежала записка Онисько.

Федя вынул ее, прочел и почувствовал, как затанцевала под ним Зойка: должно быть, лошади передалось его настроение. Жив Онисько! Жив! Невредим! И мало того, что жив,— хочет видеть его.

Онисько писал: «Все хлопцы временно разъехались по квартирам. Я тоже. Много интересного. Надо поговорить».

Федя тут же настрочил короткий ответ: «В субботу, когда стемнеет, на опушке у Лисьей балки». Через два дня Федя проверил тайник и записки не обнаружил.

На этот раз он решил взять с собою Ваню Лазаренко — пора было познакомить его с Онисько.

Сам Федя надел поверх гимнастерки уже проверенную на везение крестьянскую домотканую свитку своего верного дядьки, который хоть и любил поговорить о том, что неплохо бы Советы оставить, а коммунистов прогнать, но пока что крепко привязался к чекисту.

Ваня был в синей чумарке и серой шапке.

Сначала Федя и Ваня заехали в дом лесничего, оставили там лошадей, посидели, попили чаю с вареньем — жена лесничего, миловидная молодая женщина, томилась от скуки в лесу и рада была нагрянувшим гостям. Вечером гости захотели пойти прогуляться.

Пошли вдоль балки опушкой леса. Раз прошли все насквозь, два — никто не появлялся. Потом углубились в лес и снова вернулись — Онисько не было. Еще раз про-

шли до конца балки, вернулись, и тут от кустов отделилась фигура.

— Кто это?

— Свой.

Федя сразу узнал голос Онисько.

— Соколы летают?

— Да, летают пока.

Они приблизились друг к другу и сразу оказались в объятиях один у другого.

— Ах ты, Онисько, как же ты жив остался?

— Так вот и остался.

— Богато мы ваших побили?

— Ой как богато!

Онисько взглянул на Ваню Лазаренко и на минуту заплнул. Видно, присутствие постороннего человека и мешало ему сразу обнаружить себя.

Федя понял его:

— Ты не бойся. Это мой помощник. Он все должен знать, что мы с тобой знаем...

Ваня, как всегда, заулыбался и сплюнул.

— Богато,—повторил Онисько.—Убит Федор Ступак.

О, Ступак был крупной фигурой на Нижнеярье! Отряд Андриюшенко считался лишь частью всей нижнеярской банды, главарем которой был Федор Ступак.

— Как же он у вас оказался?

— В тот день он приехал к нам вместе со своим комендантом договориться о чем-то с Андриюшенко. Вот их обоих — и атамана и коменданта — и недосчитались. Всего банда потеряла четырнадцать человек убитыми, а раненых сколько — я и не знаю.

— Ох ты, Онисько, умница! Живой, невредимый. А я уж боялся...

И тут Онисько спросил:

— А сумка? Сумка у вас?

Он спросил это с волнением, даже голос у него оборвался.

— А ты и про сумку знаешь? Сумка у нас.

Тогда Онисько схватил Федю за плечи и так затряс, что тот невольно подумал: да Онисько ничего не стоило бы прикончить его в прошлую встречу, если бы он хотел освободиться от данного слова,—сила у него была просто медвежья.

— Да отпусти ты, чертяка. Что с тобой?

— А то, что теперь — как бы там ни было — в банде никого подозревать не станут. Там же в сумке документов богато. И это известно не только мне одному.

— Да, сумка многое нам сказала.

— Еще бы. Я только и думал, как бы она стала вашей, уж прямо не знал, куда ее положить.

Федя посмотрел на товарища так, будто увидел его впервые. Правда, когда нашли труп коменданта, первой Фединой мыслью было, что это сделал Онисько. Потом ему показалось невероятным, что Онисько решится на это, оставаясь по-прежнему в банде.

— Онисько! Так это ты?!

— Ну конечно же, я, — ответил Онисько. — И дело не только в сумке. Надо было коменданта пристроить на отдых. Он был слишком неуютимый и много трудился.

— Как это понимать?

— Мы отдыхаем, а он девчат обижает. Мы обедаем, а он на куски режет кого-то. Даже в банде у нас его ненавидели. Да и боялись.

— Откуда же он такой?

— Прежде он был у Махно и Григорьева. А когда Петрищенко ушел по амнистии, он стал комендантом у Ступака. Ступак его брал всюду с собой, поручал ему допрашивать провинившихся хлопцев. Никто из его рук не вышел живым-невредимым.

— А не подозревают тебя?

— Да нет, не должно. Мы были вдвоем, никто нас не видел.

— Хочется, уж наверное, уйти из отряда? — спросил Федя с участием и тут же почувствовал, что напрасно задал этот вопрос.

— Ох как хочется, Федя! — признался Онисько. — Не можно уж мне там...

— Ну, потерпи немного еще. Только бой когда, ты сторонись.

— Да боев, видно, долго теперь не будет, — сказал Онисько.

Федя предложил присесть отдохнуть. Они все трое устроились на пеньках, расположенных рядышком. Федя достал папиросы, Онисько неумело затянулся, закашлялся.

— Ну так как вы теперь, после Сергеевки?

Онисько рассказал, что сейчас банда Андриюшенко фактически рассыпана, распущена по хуторам. Кто лечит раны, кто набирает силы после боев. Приказ переждать зиму, а там будет, должно быть, соединение с бандой Ступака, действующей в районе Каменки. Правда, это уже не Федор, а Григорий Ступак, его младший брат, но это значения не имеет, эмиссар из-за кордона долго отсыпаться не даст. Он и себе не дает покоя — ездит из отряда в отряд, всюду рассказывает о планах пана Петлюры и о будущем Украины и от других требует действий — это по его настоянию убиты продработник Петров и хуторянин Синица, отказавшийся помогать банде.

Убийство Петрова и Синицы произошло в тот день, когда Федя сдавал пленных в ЧК.

С помощью предателя Ищенко, работника продовольственных органов, Петрова заманили на мельницу, распороли ему живот, всыпали в него белой муки и бросили одного на смерть в диких мучениях, потом поехали к хуторянину Синице, где до этого ночевали Петров и Ищенко, и убили его за содействие красным.

Этим банда, очевидно, хотела сказать, что она все равно существует и действует. Федя узнал о случившемся еще в Нижнеярье, и ему было досадно расставаться с тем чувством победы, с каким он, торжествующий, во главе конного отряда, подъезжал к воротам ЧК.

Онисько сообщил ему, где укрываются участники расправы над Петровым и Синицей.

— Ох ты, Онисько, — сказал Федя еще раз, — ох ты, дружище! Держись... Скоро я тебя вызволю.

Он сказал это и сам в это поверил, хотя совсем и не знал еще, как выполнит свое обещание.

20

После встречи с Онисько Федя Панько и Ваня Лазаренко поехали в село Константиновка, где, как сказал им Онисько, скрывались бандиты. Онисько указал даже дома, где их нужно было искать.

В одной из хат, куда вошли Федя и Ваня, к открытому чердачному лазу на потолке была приставлена лестница. Федя переглянулся с товарищем. Ваня молча взял у печки длинную кочергу, надел на нее свою шапку и под-

нял ее вверх так, что шапка прошла в люк на потолке. Сверху раздался выстрел.

Тогда Федя обратился к хозяину:

— Все равно мы их отсюда не выпустим. И они погибнут, и хата сгорит. Скажи лучше им, чтобы сдавались. Старик подошел к лестнице, громко сказал:

— Спускайся, сынок. Батьку оставишь без крыши.

Оказалось, что среди тех, кто прятался на чердаке, был его старший сын. Бандиты сдались — их было трое.

Четвертого бандита (по сведениям Онисько, всего их было четверо) нужно было искать на другом краю. Это была небогатая хата, бандиты предпочитали порою прятаться в незавидных домах.

Бандит скрывался под печью — Онисько и это знал, но Федя и Ваня не должны были обнаружить, что им известна такая подробность.

Они для виду обыскали весь дом, потом Ваня сел у двери на краешке скамьи, где стояли ведра с водой, прямо против печи, а Федя уселся в красном углу под иконами.

Хозяин божился, что в домѣ нет никого, кроме него и хозяйки, вот только детишки на печке — с печки виднелись три светловолосые головки, одна меньше другой. Хозяйка возмущенно кричала:

— Что же вы робытэ? Хату всю мне перевернули!.. Ищите у богатеев...

А Федя и Ваня спокойно сидели и ждали, что будет дальше.

— А може, все-таки кто-нибудь есть?

— Ей-богу, нема.

— А мы знаем, что есть, только где вот — не знаем. Если не скажете, всюду будем искать и стреху вам разворотим.

— Да чтоб я не встал с этого места! — клялся хозяин.

— С этого места ты встанешь, вот из тюрьмы выйдешь нескоро.

Хозяин, видно, уже колебался, но еще продолжал божиться и клясться, правда, теперь без прежнего жара.

Хозяйка уже, пожалуй, и не колебалась: видно было, что ей не хочется страдать за бандита. Она замолчала и, как показалось Феде, искала удобный момент подать хозяину знак, чтоб тот перестал божиться, но он не смо-

трел в ее сторону, и они не встречались глазами. Оба они изредка беспокойно поглядывали на печь.

В это время в хате слышался странный шорох. Федя заметил, что Ваня Лазаренко весь вытянулся по направлению к печи, а хозяйка, стоящая невдалеке от него, напряженно застыла; замолчал и хозяин.

Федя прошелся по хате и тоже встал против печи.

Тот, кто находился под печью, мог в этот момент стрелять, если бы он на это решился, а Федя и Ваня стрелять не могли: они не могли показать, что знают, где спрятался бандит.

О том, что бандит может стрелять, подумал, должно быть, не только Федя: он видел, как хозяйка украдкой взглянула на красный угол и торопливо перекрестилась.

Снова слышался шорох. Солома под печкой зашевелилась, придвинулась к выходу, затем за ней показалась русая голова.

— Руки вверх! — звонко, срываясь голосом, крикнул Ваня Лазаренко.

Но тот, кто полз из-под печки, при всем желании не мог выполнить эту команду. Он послушно выбросил руки вперед перед собой и в такой неудобной позе неловко вылез из-под печи.

Вот он уже показался из-под печи наполовину. В волосах у него торчал большой пук соломы, который до этой поры маскировал его. Он тряхнул головой: солома полетела в разные стороны, открылось его простецкое, молодое, чем-то перепачканное лицо, оглянулся — хозяин и хозяйка стояли остолбенев, чекисты оба взвели на него наганы — и вдруг произнес то, что меньше всего можно было от него ожидать в этот момент:

— Здравсте, товарищи, здравсте!

— Ах, ты еще и «товарищи»! — Федя не выдержал и ругнулся.

— Як же воно так приключилось! — всплеснул руками хозяин, выходя из остолбенения.

— Господи, господи, прости ты нас, грешных, — крестилась хозяйка, словно до этой минуты господь мог не видеть, что муж ее дает ложные клятвы.

— Оружие где? — спросил Федя, не опуская нагана.

— Та под печью, — просто ответил парень.

Ваня Лазаренко тут же полез под печь и действительно вылез оттуда с оружием.

Парень, с соломой в путаных волосах, с поднятыми вверх руками, с этим неожиданным «здрасте», был как нелеп и нескладен, что теперь, когда оружие его было у Феде в руках, Федя взглянул в растерянное лицо подпечного обитателя, в расстроенные лица хозяев и расхохотался.

Хозяйка опять закрестилась: слава богу, хата осталась цела, никто не стрелял, дети не испугались, бандит объявился сам — она не виновата ни в чем перед проклятою бандой, и чекист, кажется, не очень сердит.

А бандит, как видно, по натуре словоохотливый парень, немедленно начал делиться своими переживаниями:

— Я чую, так и так вы во всей хате станете обыск робить. Думаю — може, вылезти. А як згадаю, что вы меня можете расстрелять, так мне боязно станет, что думаю: лучше б вовсе меня на свити не стало. Хоть бы я на время куда-нибудь зник.

— Чтоб потом опять стать живым?

— Ну конечно же, — простодушно признался парень.

— Чтоб опять стать живым и снова мучить Петрова? — жестко повторил Федя Панько. — А когда ты Петрову живот порол, тогда не хотелось зникнуть со свиту?

Федя смотрел на бандита и не верил себе: ясные, голубые, бесхитростные глаза, открытое, исполненное надежды лицо, большие натруженные руки деревенского парубка — как видно, тоже из небогатой семьи, — и этими руками сделано такое злодейское дело!

— Та хиба ж то я придумал?

Да, придумал, конечно, не он. Он, должно быть, вообще ничего придумать не мог.

— То атаман велел!

— Да как же ты разрешил атаману такое велеть тебе?

— Я знаю, советска власть дуже добра, — сказал бандит, как видно ничуть сейчас не кривя душой: слишком здоров и молод он был, слишком прочной и неизбывной была жизнь, обитавшая в его крепком теле, чтобы он мог поверить в возможность ее прекращения.

— На этот раз она доброй не будет, — с сердцем ответил Федя.

А хозяйка, не вникавшая в их разговор, но видевшая, что чекист и бандит спокойно ведут беседу, должно быть,

решила, что, слава богу, все обошлось, и вдруг предложила:

— Может, закусите что-нибудь, товарищ начальник?

— Да, конечно, с этим бандитом будем у вас тут теперь самогон распивать, — с досадой ответил Федя и обернулся к своему заместителю: — Вяжи его, Ваня.

Затем был раскрыт тайник, в котором хранилось оружие, некоторые драгоценности, награбленные вещи. Оружие и драгоценности сдали в ЧК, а вещи раздали многодетным бедняцким семьям.

И все это — Онисько! Он снова вызвал Федю на встречу и рассказал ему, где находится этот тайник, как и в какое время лучше его взять.

А банда действительно на зиму притихла. Скрывались по хуторам, лечили раны, ждали весны и сигнала к сбору.

«Ледовый поход» Тютюника на Украину в ту пору уже завершился полным провалом. Войска Красной Армии разбили Тютюника под Малином и Базаром, остатки банд Паляя вынуждены были вернуться в Польшу.

Началось затишье.

Но, как рассказывал Феде Онисько, эмиссар, прибывший из-за кордона, не давал покоя подполью, требовал от него, уже достаточно обескровленного, подготовки к новым боям.

Это затишье было лишь паузой.

В жизни Феде Панько не было ни затишья, ни передышки: чем незаметнее держались бандиты, тем настороженнее, беспокойнее были будни чекиста. Время от времени сообщали: на таком-то хуторе скрывают бандита. Приходилось немедленно ехать туда, иногда Федя и Ваня брали с собой людей из актива — бандиты нередко оказывали отчаянное сопротивление.

К весне Онисько сказал, что, как и предполагалось, остатки банды собираются отсюда на юг, к Каменке, на соединение с основным ядром, во главе которого стоял прежде Федор Ступак, а теперь Григорий, его младший брат.

В районе Каменки хутора были богаче, чем здесь, — банда, очевидно, рассчитывала там на более крепкую базу.

Видно было, что Онисько растерян — очень уж ему не хотелось идти в отряд Ступака. Федя отлично его понимал, но разве он мог лишить ЧК такого сотрудника? Он предпочел сделать вид, что не понимает товарища, да Онисько прямо ничего ему и не сказал. Он только спросил, что ему делать, и смущенно взглянул на Федю.

Федя выдержал этот взгляд (тебе тяжело, Онисько, но ты и меня пойми) и спокойно сказал:

— Иди пока, Онисько, со всеми в Каменку. Я посоветуюсь с одним человеком, как нам с тобой быть дальше.

Под «одним человеком» Федя подразумевал, конечно же, Яшу: не может быть, чтоб Яша чего-нибудь не придумал. Он постарался подбодрить приятеля:

— Ты потерпи, Онисько, немного уже осталось.

Для связи они пока оставляли старый тайник — когда-то Онисько мог отпроситься домой и заглянуть сюда.

...Федя поехал к Яше советоваться, как теперь быть с Онисько, а Яша встретил его неожиданной новостью:

— Тебя переводят в Каменку. В Шуровке тебе пока нечего делать. Банда двинулась к югу, и ты давай двигай за ними.

Федя понимал, что это значит: с передвижением банды Каменка становилась пунктом первостепенной важности — его переводили туда, где было труднее. Что ж, он не против.

И вдруг на него нахлынуло откуда-то из глубин, о которых он даже не знал: Каменка! Он снова будет рядом с Ниной Поречной! За эту зиму он несколько раз видел ее в Нижнеярье на уездных активах: ее посылали в уездный центр как представителя учительской интеллигенции. Она держалась на этих совещаниях так же строго и недоступно, как дома, когда выходила посидеть на свою скамеечку. Федя старался не смотреть на нее и не думать о ней. Как же будет теперь?

— Ты у нас теперь уже опытный бандолов, — добавил Яша, желая, должно быть, как-то подбодрить его. Если б он знал, о чем думал Федя в эту минуту!

Федя встряхнул головой и заставил себя вернуться мыслями к делу. Его перевод в Каменку решал вопрос о связи с Онисько. Феде было жаль с ним расстаться... Онисько был для него не только товарищем, он был его везением, удачей, его счастливой звездой, и этого, по правде сказать, он не хотел бы никому уступить.

Собственно, можно было ехать прямо в Каменку: никакого имущества, кроме того, что было на нем, уполномоченный ЧК не имел. Да и как ему было что-то иметь? Приезжать в Нижний Яр за зарплатой вовремя было некогда: бывало, что в день, когда выписывали зарплату, на нее можно было купить пуд белой муки, а когда Федя приезжал ее получать — она уже и коробки спичек не стоила. Миллионы падали в цене с каждым днем, и чекисту меньше всего приходило в голову думать об этом.

Не имел он и канцелярии, которую нужно было передавать.

А все-таки хотелось еще раз увидеть Ваню и что-нибудь сказать ему напоследок, хотелось еще раз взглянуть и на Шуровку.

Разговор между Федей и Ваней состоялся в доме отца Вавилы, куда сразу заехал Федя; вскоре туда же заглянул и его помощник. Федя увидел его и невольно подумал: «Ой, Ваня, видно, частенько ты заходишь сюда без меня».

Федя покачал головой:

— И когда ты, Ваня, станешь серьезным?, Я ведь в Каменку еду, тебя уполномоченным тут назначают.

— Ну ты? — Ваня был поражен. Он сплюнул, как он делал это во всех случаях жизни, подтянул свои брюки и сказал озабоченно и даже, пожалуй, растерянно: — Как же я без тебя?

Он был искренне опечален — сомнений в этом у Феде не было.

А глаза его уже сами, без спросу, сияли, сияли и ничего с собой не могли поделать.

Это не было лицемерием. Он и правда, должно быть, страшился остаться один и жалел о товарище, но и самостоятельность, видно, тоже была заманчива...

Федя заседлал свою Зойку, и оба товарища выехали из села.

В степи они обнялись, и Федя прищиприл Зойку.

На пригорке оглянулся в последний раз.

Уже поднималось утро, белые хатки казались розовыми в этот рассветный час. Над крышами тихо вставали прямые дымы.

Жаль было расставаться с Шуровкой: здесь началась его чекистская жизнь, здесь многое ему пришлось испытать впервые, и, как ни трудно приходилось порой, он чувствовал себя здесь любимым сыном судьбы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЗГРОМ

1

И все же в Каменку Федя ехал, как едут к себе домой. Казалось, все и вся ему здесь известно.

А случилось иначе. Все здесь было теперь иным.

Те же улицы, немощеные, непролазные в дожди и во время таяния снегов, те же дома, беленые, чистые, строгие, без ярких красок, какими пользуются в иных местечках на Украине, а воздух не тот.

Иным стало время, иным стал он сам. И от этого Каменка тоже показалась совсем другой, незнакомой.

Эх, как просто было жить командиру отряда — куда как просто! Только теперь это понял Федя Панько. Налетели бандиты, бед натворили, исчезли, а ты их ищи, мчись по дороге, устраивай им засаду и бей их, бей, сколько у тебя будет патронов, столько и бей.

Разве у чекиста только эти заботы? Разве одни только банды у него на уме?

Каменка многолюдна — это не маленькая, скромная Шуровка. Здесь немало вернувшихся с фронта бывших григорьевцев, махновцев, петлюровцев.

Панько должен был разобраться, что делают эти люди, что они представляют собой теперь.

Глухо притаилось подполье. Идет Федя по улицам, и кажется ему, что земля под ногами гудит — вот-вот колыхнется. Кажется ему порой, что свежевыбеленные дома смотрят на него своими пустыми глазами — чисто отмытыми оконными стеклами с затаенным злорадством: разберешься или не разберешься?

Вот аккуратный, тоже недавно побеленный дом (хозяйки здесь себя не жалеют) под железною крышей, с крыльца которого сходит священник каменковской церкви Аркадий Круча. Он идет своей строгой походкой, исполненный чувства достоинства, подтянутый и еще моло-

дой, а Феде под его рясою чуются сабля и галифе. Чего только не привидится молодому чекисту!

А вот дом, в котором поселился он сам...

Здесь, под одной крышей с Федей, живет сам Жорж Петрищенко. Так случилось, что квартира, в которой Федя жил прежде, оказалась занятой, и Федю поставили по соседству, к Петрищенкам, на половину, которую раньше занимала семья учителя. Трудно сказать, был ли этот выбор случаен или кто-то вложил в него тайный, особый смысл. В Каменке уже позабыли, что Жорж был когда-то в банде. Первое время он сам работал уполномоченным по борьбе с бандитизмом, теперь он — начальник всеобща; тут больше, чем где-нибудь, кстати его военные знания, военная выправка.

К Жоржу тянется молодежь Каменки, ребята всеобща стаяй ходят за командиром, ловят каждое его слово, а Жорж охотно проводит свободное время со своим новым соседом — уполномоченным УЧК. Это естественно, поскольку и сам он недавно работал в ЧК.

На выгоне каменковская молодежь разбила футбольное поле; капитан одной команды — Петрищенко, капитаном другой позвали Федю Панько. Один стоит другого, трудно даже сказать, кто из них лучше, во всяком случае, оба друг другу под стать: оба ловки, оба азартны. После игры Жорж нередко зовет соседа к себе домой.

Как прежде, увидев Федю, сестра Петрищенко Феня отчего-то краснеет. Сева, средний из братьев Петрищенко, начинает с ним разговоры об агрономии, а младший, Андрюша, не сводит глаз с Фединой Зойки.



В доме Петрищенков всегда дружно, тепло, уютно — несмотря на трудные времена, Федю здесь угощают чаем с домашним вареньем. Кажется, в этом доме царят мир и покой.

Но почему в глазах бессловесной матери Жоржа, с утра до ночи хлопочущей по дому, затаилась такая тревога? Тревога и боль... Федя несколько раз перехватывал ее взгляд, направленный на старшего сына. О чем же она тоскует? Снова чудится что-то чекисту. Такой ли здесь мир и покой? Тот ли Жорж, за кого он себя выдает? Не живет ли он еще одной жизнью, о которой не знают в Каменке и которой терзается его мать?

Огляделся Панько, побыл недолго гостем и новичком, и снова пошли будни чекиста, если можно назвать буднями дни, не похожие один на другой, дни от зари до зари в седле.

Снова боевые операции, снова заботы о беспризорных, голодающих детях; весна и лето двадцать второго года до нового урожая — эта пора, пожалуй, была самой голодной; случалось, что Федя и сам сутками совсем ничего не ел.

Но не боевые операции были теперь главной заботой — пришла пора проникнуть в тайны подполья, найти его корни.

Как не хватало Феде Онисько!

Много уже раз он ездил к кринице — вестей от Онисько не было.

Нужно было на новом месте искать людей...

В округе Каменки село Бураково славилось так же, как Сергеевка в Шуровской волости, — здесь, на краю села за речкой, жили богатые хуторяне, сюда заезжали бандиты, и советские работники старались не оставаться на ночь в этом селе.

Федя Панько Бураково не объезжал. Тут, недалеко от церкви, жила старая знахарка Евдоха. Она от всего лечила травами и подсолнечным маслом. На потолке и на стенах ее убогой хатенки были подвешены пучки всяких растений. Как-то, приехав сюда и оставив коня у самого богатого хуторянина, Федя пошел к Евдохе лечиться.

— Тетя Евдоха, вы всё знаете, вы могли бы меня полечить, хотя я и здоровый,— сказал он, едва перешагнув порог ее горенки.

— А что тебе надо? — спросила Евдоха, хитро взглянув на него маленькими темными глазками, веселыми и молодыми, блестящими, как два островка жизни на ее морщинистом, обвисшем лице.

— Дали бы вы мне такой травки, чтоб от бандитов...

У Евдохи сын служил в Красной Армии, поэтому Федя так смело начал с ней этот непростой разговор.

— Да виткиля ж я знаю такую травку,— сказала Евдоха и наморщила нос, а в глазах у нее заскакали лужавые огоньки-чертенята.

— Вы все знаете, тетя Евдоха,— польстил ей Федя,— и какая трава полезная, и какая бурьян, уж если вы чего-то не знаете, так этого не знает никто.

Евдоха не была безразлична к лести.

— Ну так заходите.

Одних знакомств Федя искал, других сторонился.

Сколько девушек и молодых вдов стало вдруг в этой Каменке!.. Раньше, когда он был командиром отряда, он их не замечал. Или они, вдовы и девушки, в ту пору не замечали его?

А теперь, стоило ему в пути остановиться у хаты, постучаться в оконце и попросить ковшик воды, его приглашали в дом.

Время подошло уже к троице. В хатах и на столах, и на стенах, и на свежепомазанных глиняных полах набросаны травы — чебрец, мята, барвинок. Воздух в хатах как в поле.

— Я вас не выпущу, пока вы у нас не погостите,— говорит ему молодая женщина, на вид совсем еще девушка, овдовевшая через месяц после замужества, как она сообщает Феде.— Прошу — сидайте. И чего вы такие гордые.

И свекор ее ничуть не смущен тем, что вдова его сына так свободно разговаривает с чужим человеком. Он ее даже подбадривает:

— Что ж ты, Марина, такая скупая — не дашь нам с гостем чего-нибудь выпить покрепче?

— О, я зараз.

Федя выходит из хаты, как после тяжелой работы.

Кто она, эта Марина? Кто ее свекор? Что им нужно от уполномоченного? Дом не из богатых, но все же справный...

А может быть, это просто гостеприимные люди? Просто молодая одинокая женщина? Просто старый человек, жалеющий, что пропадает молодость овдовевшей невестки?

Нет, нет, что-то не так. Федя вспоминает Марию Кузьменко. Это воспоминание сразу одевает его в броню.

И снова мучает Федю — кто здесь друзья и кто здесь враги?

Неожиданно у него объявился советник. Несколько раз он замечал, что, стоит чуть ослабить поводья и дать лошади волю, к кое-каким хуторам Зойка заворачивает сама.

Первое время он не обращал на это внимания, потом заметил, что Зойка заворачивает чаще к хуторам побогаче: остановится у ворот, вытянет доверчиво шею вперед, словно чего-то ждет... И его осенило: видно, Зойка принадлежала когда-то одному из главарей каменковской банды и помнит, в каком дворе ее сытно кормили, поили. Здесь, значит, она нередко бывала со старым хозяином.

Славная Зойка! Мало, что она была быстрым верным конем! Мало, что она не раз выносила из беды Федю Панько! Теперь она служила ему новую службу.

2

В Каменке милиция многочисленнее, чем в Шуровке, и больше актив. Здесь Федя позволял себе ночевать в доме, где был поставлен, и не искал каждый вечер новый ночлег. Когда он возвращался из своих поездок не ночью, а вечером, что бывало не часто, он неизменно видел на скамейке у флигеля учительницу Нину Поречную. Снова были каникулы, снова Нина работала на отцовском поле, а вечерами, как прежде, отдыхала на скамейке перед плетнем.

Нина по-прежнему казалась Феде строгой и недоступной, во всяком случае, она по-прежнему не замечала его. Если бы она имела что-то против него, это было бы даже не так обидно — она же его действительно не замечала.

Он это чувствовал! И это, по правде сказать, казалось ему все-таки странным.

Когда он ехал сюда, в Каменку, Яша Березень сделал ему крайне полезный подарок. От имени УЧК он преподнес Феде сукно красного цвета и попросил его сменить те штаны, которые Феде были когда-то сделаны из отцова пальто. К этому времени они и правда сильно потерялись.

Теперь Федя сшил себе новые галифе с черными леями. В этих красных штанах, обшитых сверкающей кожей, он и появился однажды в своем дворе, уверенный в том, что теперь-то его нельзя будет не заметить. Правда, однажды уже было, что он, облаченный в дары покойного дяди Саши, вышел в этот вот самый двор, чувствуя себя в самой парадной форме, и на это никто не обратил внимания, но то было давно, а Федя не был злопамятным.

Федя смело подошел к скамеечке, на которой сидела Нина и еще кое-кто из соседей, полный решимости принять участие в разговоре, который здесь велся. Но никакого разговора тут не было. Нина плакала, остальные молчали. Оказалось, что у Нины сестра заболела холерой и врачи объявили ее безнадежной. В ту пору в Каменке правда начиналась холера, но то, что это коснулось Нины, казалось Феде невероятным.

Вот ведь опять незадача! Где уж тут Нине заметить Федю и его красные галифе! Федя что-то пробормотал о том, что все будет хорошо, спросил, не надо ли что-нибудь сделать,— его не услышали, просто не услышали, да и только!

Федя отошел расстроенный, а через полчаса уже заседал свою Зойку и ускакал по делам — он и в любом случае должен был в этот вечер уехать.

Дел у него было много, и было б смешно, если бы он убивался из-за того, что одна дивчина не обратила внимания на него и на его галифе — так он себе сказал, и это показалось ему убедительным.

Он скакал целую ночь, успел побывать в Буракове, у тети Евдохи и еще кое-где, а к утру у него уже было что доложить в ЧК.

Дело в том, что последние дни в Каменке участились убийства. В Каменку по-прежнему приходили и приезжали люди из Москвы и из Петрограда, привозили узлы и чемоданы. Но к этому времени повыдохлись и каменковцы: им уже нечего было давать в обмен на шубы

и сапоги. Люди, приехавшие с вещами, задерживались. Они просились в дома, расплачивались за приют вещами. И стало случаться, что, попросившись заночевать, приезжие уже не выходили оттуда, где их приютили. Их расспрашивали, кто они и откуда, кто остался в семье, и если видно было, что человека разыскивать скоро не будут, судьба его была решена: его убивали, а вещи присваивали себе. Случаев этих было не так уж много, но каждый из них обрастал слухами, множился в народной молве.

Может быть, эти убийства и не имели политической цели, но что стоит та власть, которая не способна обеспечить покой и безопасность граждан?

Федя должен был выяснить, причастна ли к этим убийствам банда Григория Ступака. Оказалось, убийства совершались уголовниками из вернувшихся домой бывших григорьевцев.

Нужно было принимать необходимые меры.

Нет, слишком много забот было у Федя Панько, чтобы он позволил себе огорчаться по поводу личных своих поражений.

3

Благодатное лето двадцать второго года!

Солнце грело спокойно, без ярости, притихнув после разгула прошлого лета. Пройдет короткий весенний дождь, и снова пригреет ласковое нежаркое солнце.

По синему влажному небу шли пухлые, влажные, словно напоенные облака.

Серая, растресканная, истомленная прошлым летом земля утолила жажду, потемнела, набухла и уже готова была к отдаче.

Дороги, сухие и звонкие под копытом в прошлом году, теперь струились через поля, как шелковые мягкие ленты.

И всё вдруг сразу пробилось и буйно вошло в рост и цветение.

Буйно поднимались заросли кукурузы, тянулись подсолнухи, по огородам стелилась сочно-зеленая листва тыкв с крупными, согретыми солнцем цветами, похожими на желтые лилии.

Уже было видно: лето даст урожай. И еще в одно уже успели поверить: новая экономическая политика не про-

сто лозунг и обещание — нет продрозверстки, хлеб не отбирают, можно спокойно ехать на рынок.

И торговать как будто еще было нечем, а базар уже зашумел: какая-то баба сварила фруктовые леденцы и понесла их на продажу, как высшую ценность; у кого-то нашлись нетронутые запасы муки.

Федя ходил, посматривал и улыбался: трясли, трясли, а не все, видно, вытрясли. Кто-то притащил на рынок совсем новый костюм.

В Каменку приехали два одессита — открыли тут сыроварню: молоко уже появилось. Впервые Федя узнал на вкус, что такое сыр. Купил сразу головку, положил ее на полочку и по утрам с удовольствием вдыхал ее запах.

Все чаще доводилось слышать по деревням от матерей, от стариков, даже от нестарых еще мужчин: «Надоела война, хочется уже хоть немножко покоя».

Возвращаясь из поездки в соседнюю волость, Федя остановился у ссыпного пункта попить воды и попросить немного овса для Зойки.

Приемщик — молодой застенчивый парень — знал его еще с той поры, когда Федя работал здесь командиром отряда.

Он сам отнес Зойке торбу овса, потом завел Федю в конторку, плотно прикрыл дверь, словно собрался сообщить Феде что-то важное, но, как видно, заколебался, вздохнул и снова распахнул дверь.

— Ты мне хотел что-то сказать? — догадался Федя.

— Хочу, да боюсь, — признался приемщик.

— А чего ты боишься?

— Боюсь, что меня бандиты убьют.

— А ты так делай, чтоб не убили.

— Да если б никто не знал, кроме вас...

— Даю тебе слово, что никто не узнает.

Приемщик взглянул в окно и еще раз прикрыл дверь.

— Вы знаете, тут недавно был Жорж.

— Ну и что же, что был?

— Он мне такое сказал, что я повторить боюсь.

— Что ж он тебе сказал?

— Он сказал, чтоб я брал зерна себе столько, сколько мне нужно. А скоро, мол, банда сделает налет на амбары, и все, что я возьму, можно будет свалить на банду.

Это была новость, от которой голова могла пойти кругом. Но Федя и виду не подал, как это важно — то, что сообщил приемщик.

— Что ж ты ему ответил? — спросил он небрежно.

— Я ответил ему — делайте что угодно, только меня не трогайте.

— Значит, ты отказался?

— Ну да. Зачем мне это нужно?

Парень, как видно, был сильно взволнован.

— Зерно ты, конечно, не трогай, — сказал ему Федя, — но дело тут не в зерне. Если заглянет Жорж, ты мне сообщи.

Дав шифровку Березню в УЧК, Федя в глубоком раздумье возвращался домой. Что все это значило? Неужели и правда Жорж до сих пор связан с бандой? Или он просто испытывал этого парня? Или приемщик теперь провоцирует Федю? Может, у него свои счета с Петрищенко?

Так случилось, что в тот же вечер Жорж постучал в комнату Феде и предложил ему партию в шахматы. Он же и научил Федю этой игре, а теперь между ними уже разворачивались сражения, которые велись с переменным успехом. Потом шахматисты вышли во двор посидеть на скамеечке; во дворе было пусто — Нина уже, должно быть, спала. Жорж рассказывал Феде о царской армии, о германской войне, на которой он, несмотря на молодость, успел побывать. Он был в этот вечер как-то особенно прост и открыт. Федя слушал его и думал: нет, не может быть, чтоб он что-то таил за душой. Но как же быть с тем, что рассказал приемщик?

Утром Федя отправился в Нижний Яр.

Яша Березень выслушал его с едва уловимой улыбкой, спокойно сказал:

— Не делай преждевременных выводов, не действуй без разрешения. Смотри и слушай. Будь объективным и не торопись.

Феде показалось, что Яша знает больше, чем говорит. Но если он что-то скрывал, значит, так было нужно.

Эх, если бы все, что сообщил приемщик, оказалось неправдой... Как счастливы были бы все в этом доме! И в первую очередь — мать, старая мать Жоржа, которая почему-то смотрела на Федю Панько так, будто он мог для нее сделать что-то очень хорошее.

Федя на несколько дней уезжал из Каменки. Вернулся он под вечер. Проходя через двор, он увидел на скамеечке у флигеля Нину Поречную, но решил, что ни за что к ней не подойдет. Однако невольно он все-таки обернулся — глаза у Нины были заплаканы и даже исчез куда-то ее яркий румянец; ему стало жаль ее, и он все-таки подошел. Нина — опять не замечая его! — рассказывала соседке и юноше, стоявшему перед скамейкой, что сестра наконец-то пришла в себя, всех узнала и просит сельтерской воды — хотя бы глоточек. Но где же ее взять? Это до революции в Каменке можно было достать и сельтерской воды, и все, что угодно, а теперь — разве до этого? Нина сказала это и снова заплакала, а соседка и юноша стали ее утешать.

Федя рассердился сначала: плакать из-за такой ерунды, когда весь мир перевернут! Неужели сельтерская вода может быть так необходима?

Но Нинино горе было действительно неподдельно: слезы так и катились по ее побледневшим щекам. И вдруг Федя поверил: а может, и правда жизнь сестры ее зависит именно от этой сельтерской воды и ни от чего другого? Он вспомнил, как мать его говорила: первое желание человека, только что очнувшегося после тяжелой болезни, нужно исполнить, чего бы это ни стоило; тогда человеку захочется жить, и он обязательно выживет.

Федя почувствовал себя совершенно счастливым. Ах, какая удача! Как все славно сложилось! Как хорошо, что у Нины заболела сестра, как хорошо, что ей понадобилась сельтерская вода и что ни один смертный в Каменке этой воды ни в каком случае ей не достанет!

Он не заметил кощунственности своих рассуждений. Конечно же, никто этого здесь не достанет, а он раздобудет хотя бы из-под земли, найдет как живую воду, спасет Нине сестру, и пусть тогда Нина подумает, правильно ли она до сих пор поступала с Федей.

Не говоря ни слова, Федя отошел от скамейки — как никто не заметил, что он тут появился, так никто не заметил и того, что он исчез, — а минут через десять уже был в седле.

Никогда, быть может, не мчался он так, как в эту

ночь, никогда так не слушалась его верная Зойка, никогда он не чувствовал себя таким везучим.

Он нисколько не сомневался, что раздобудет то, зачем ехал. Казалось, не за живой водой для сестры Нины Поречной он мчался, а за своею судьбой, за собственным счастьем. Хотя при чем тут его судьба и при чем его счастье? Что ему Нина Поречная и ее заболевшая холерой сестра?

В Нижнем Яру, куда он приехал, он разыскал с помощью товарищей кустаря, который когда-то до революции производил сельтерскую воду для Нижнего Яра. Последние годы его заводик бездействовал. Как раз в то время, когда Федя приехал к нему, он возился со своим аппаратом.

Ввиду наступления нэпа он снова налаживал свое производство. И так получилось, что один из первых сифонов сельтерской воды, приготовленной после установления советской власти на Нижнеярье, достался ему, Феде Панько. До чего же удачно все это вышло!

На другой день, рано утром, на взмыленной Зойке он въехал в Каменку.

Каменка еще спала. Не дожидаясь, когда раскроются окна, он решительно постучался в Нинину дверь.

Она вышла на крылечко в халатике, заспанная, непричесанная, но почему-то еще более красивая, чем всегда. Федя протянул ей сифон, объяснил ей, что это — самая настоящая сельтерская вода, и впервые они встретились взглядом. Впервые она на него смотрела. Но как смотрела! Она была взволнована, тронута, больше — потрясена.

Она благодарила его, извинялась за что-то и все повторяла:

— Да как же это вы так? Где ж вы это достали? Мне даже совестно... Ну спасибо, спасибо...

Потом она снова заплакала и понесла сельтерскую воду сестре.

Федя был совершенно вознагражден.

После этого какое-то время он вовсе не показывался во дворе — в дом можно было попасть через парадное, которое выходило на улицу. Трудно сказать, что служило тому причиной: то ли он был смущен, то ли природный такт подсказывал ему, что так будет лучше, и он не хотел быть назойливым, то ли просто он слишком был занят: жизнь загадывала ему в эти дни непростые загадки.

Сотник Левченко не из тех, кто вешает голову: провалился «ледовый поход» Тютюника, за плечами тяжкая дорога потерь, поражений, горьких разочарований. Но пока голова на плечах, сотник будет держать ее так же гордо, как прежде. Левченко продолжал свой рискованный путь, ковал кольцом подполье всего Нижнеярья. Много сел, деревень, хуторов на его опасном пути. Не миновал он и Каменку — старинное большое село, где у него явки. Неужели он не найдет здесь верных людей?

Первая явка — к учителю Квитко. О Квитко известно лишь то, что он преподаватель пения в школе, а также то, что он здесь появился с войсками кайзера, а после отстал и женился на молодой вдове.

Надо обойти все три каменковские школы, не вызывая подозрений, выяснить фамилии преподавателей пения и адрес того, чья фамилия — Квитко.

И вот наконец все, что нужно, в руках эмиссара.

Это не первая встреча Левченко, может быть, сотая, но всякий раз, когда эмиссар стоит у чужого порога, готовый постучаться в чужую дверь, он слышит вдруг стук своего сердца. Если подумать, не так уж и непонятно это волнение. Каждая новая явка — смертельный риск. Кто тот человек, что живет за этой вот дверью? Таков ли он, как думают о нем за кордоном? Можно ли на него положиться? Время и обстоятельства все меняют.

Всякий раз эмиссар отдавал свою жизнь на волю незнакомых ему людей, живших жизнью, которая была ему неизвестна. Но он не роптал, он взял на себя этот крест, и ему даже нравилось всякий раз подавить в себе это волнение, внутренне распрямиться, почувствовать свое превосходство над теми, кто не покинул свой угол и свой очаг ради отчизны, и стукнуть в чужую дверь так, словно он здесь не гость, а хозяин: пусть почувствует гостем себя тот, к кому он пришел, — тот человек тоже зависит целиком от него.

Когда Левченко побарабанил пальцами по окну, рядом с дверью, была уже ночь, и во всех окнах было темно. Ему ответили сразу.

— Здесь проживает Тарас Степанович Квитко? — спросил эмиссар уже совершенно спокойно, а то волнение, которое он испытывал минуту назад, теперь подымалось

за этим оконным стеклом. Левченко знал уже, так бывает всегда: побеждая себя, одерживаешь победу и над другими.

— Здесь, — ответил встревоженный женский голос.

— Пусть он на минутку выйдет.

— Сейчас.

Дверь растворилась, на пороге стоял невысокий, широкий в кости мужчина.

— Вы не знаете, кто здесь воевал в Карпатах? — спросил эмиссар.

— А зачем это нужно?

— Я тоже там воевал и имею к нему поручение.

— Проходите же, ради бога.

Таков был пароль.

Сотник вошел в незнакомый дом так, будто дом этот всегда принадлежал только ему. Тарас Степанович попросил жену занавесить окна, сам подрезал фитиль и зажег лампу, гость и хозяин при свете взглянули один на другого: хозяин был в средних летах, с усами, как видно, еще вынослив и крепок.

— Слава Украине! — с чувством сказал сотник.

— Героям слава! — ответил ему учитель.

Это была традиционная форма приветствия, принятая украинскими националистами.

Эмиссар и учитель обнялись, расцеловались, эмиссар оценил про себя: это — живая явка. А сколько пустых, умерших явок было уже на его пути...

Между мужчинами завязался серьезный; деловой разговор. Левченко рассказал учителю о положении дел. Планы, надежды — все остается прежним. Меняется тактика. Нужно крепить подполье, переходить к внедрению в органы власти. Это — пока. До сигнала. А там... Да, поход Тютюника потерпел неудачу, но это только начало...

Учитель говорил эмиссару о тех, на кого можно рассчитывать в этих краях. Из педагогов преданна делу национального освобождения молодая учительница Кузьменко, она не раз уже выполняла серьезные поручения. Он, Квитко, пытается найти общий язык с учительницей Поречной, она авторитетна у местных властей. Но Поречная то ли делает вид, что не понимает его намеков, то ли действительно слишком уж простодушна. Она интересна тем, что к ней, судя по всему, цитирует чувства чекист.

Панько неплохо было бы вовсе убрать или как-то обезвредить хотя бы.

— А эта Кузьменко, что она, хороша собой? — спросил вдруг эмиссар.

— Так хороша, что лучше и не бывает! — с жаром ответил Квитко. — Если хотите, могу познакомить.

Эмиссар поморщился: он не любил, когда его понимали неверно.

— Нет, это не нужно. Сделайте так, чтобы она познакомилась с этим Панько.

Квитко промолчал — должно быть, ему не хотелось рассказывать эмиссару о неудачах Марии.

Затем он расхвалил местного священника Кручу — корректен, прекрасно держится, вне каких бы то ни было подозрений, но, безусловно, наш человек. Левченко не стал говорить, что имеет явку и к Круче и, кроме того, лично знает его, но такая оценка его агента, к тому же однополчанина, была ему, конечно, приятна.

Этот Квитко, неторопливый, положительный человек, больше похожий на мастерового, чем на учителя, такой, какой был он, сам собой убеждал эмиссара в том, что не все еще потеряно для дела, которому эмиссар отдавал жизнь.

Следующий день Левченко провел у него, а вечером (это была суббота) присутствовал на богослужении в церкви. Народу здесь собралось много.

На алтаре показался священник — Левченко не сразу узнал старого боевого товарища в этом импозантном протоиерее с бархатным голосом, — богослужение его вызвало восторг. Женщины — и не только преклонных лет, но и совсем молодые — смотрели на священника так, как если бы он открывал им новые, неведомые миры. Дело было, очевидно, не в содержании проповедей, а в каком-то особом артистизме священника, в его хорошо поставленном голосе, в его чувстве достоинства, в его гордой осанке — меньше всего можно было ощутить в нем смирение. Он служил господу богу, но мог бы служить и сатане, во всяком случае, он производил впечатление человека, который не служит никому на земле, и это эмиссару показалось очень существенным. Этих качеств Левченко и не подозревал даже в Круче. Нет, не пропала еще Украина, если у нее есть такие люди...

Среди молящихся в первых рядах находилась матуш-

ка, красивая, пышная, еще молодая женщина, зорко глядевшая по сторонам и, должно быть, меньше всего занятая богослужением. Пожалуй, только ее душой и не владела служба, которую вел Круча. Но она не забывала усердно креститься, вместе со всеми опускалась на колени, ничуть не боясь испачкать свой богатый наряд, губы ее непрестанно двигались, повторяя слова молитвы, и только глаза, красивые молодые глаза, были свободны. Но кому было дело до ее глаз в этой церкви, кроме приехавшего эмиссара?

Вечером, когда в Каменке уже гасят огни, Левченко принимали в доме священника. Матушка сама накрывала на стол (прислугу отослали с каким-то делом в другое село).

Разговор был веселый, светский — давно уже Левченко не бывал среди людей своего круга и давно уже матушка не принимала гостей с таким удовольствием. Круча, дома похожий на барина, а не на попа, охотно вспоминал с товарищем полк, в котором они вместе служили.

А что касается планов и перспектив на ближайшее время, то Круча был информирован не хуже самого эмиссара: он ездил в епархиальное управление, имел встречи с епископом, тот ориентировал его в обстановке. Круча считал, что боевые отряды в последнее время лишь подрывают авторитет защитников Украины: они убивают, грабят, жгут без всякого смысла, превращаются просто в шайки уголовников.

Во многом Левченко должен был с ним согласиться. Договорились о паролях и тайниках, обменялись несколькими новыми адресами.

Левченко в самом лучшем настроении двинулся дальше. Последние дни он по праву считал удачными. Каменка принимала эмиссара вполне достойно.

По вечерам Жорж иногда выезжал из дому. Федя знал, что в соседней волости у него есть невеста, этого Жорж не скрывал, но свадьбе его, очевидно, что-то мешало.

Как-то они повстречались с Федей на улице, когда Каменка уже спала крепким сном, и улыбнулись друг другу, как заговорщики.

— К ней? — лукаво спросил Федя.

— Куда же еще, — так же ответил Жорж.

Если б знать, что Жорж ехал только к невесте!.. Невеста, конечно, была, в этом Федя не сомневался: однажды он даже позволил себе проследить маршрут своего соседа; но не имела ли эта невеста отношения к каким-то другим заботам Жоржа Петрищенко?

А вот налет, который Жорж обещал приемщику, так и не состоялся. Конечно, быть может, Жорж догадался, что приемщик выдал его: через сутки зерно было перевезено на нижеярский склад. Во всяком случае, прямых улик не было, и, возможно, приемщик сказал неправду. Мало ли что за счеты могли у него быть с Жоржем!

Как раз в те дни на имя председателя ЧК поступило письмо двух оперативных работников. Оба они были родом из Каменки. Авторы письма утверждали, что Петрищенко по-прежнему связан с бандой, что его переход не больше чем тактика.

Но нужно сказать, что авторы этого документа не внушали доверия. Оба они в прошлом были григорьевцами и долго это скрывали, пока Петрищенко же не сообщил об этом в ЧК.

Так что это письмо нуждалось в большой проверке — Федя ему не верил.

Во всяком случае, требовались веские доказательства — без них арест человека, пришедшего к нам по амнистии, подорвал бы доверие к самому акту амнистии, провозглашенному Всеукраинским съездом Советов.

Какие-то непонятные Феде Панько заботы у Жоржа все-таки были. Вот, например, взял он на три дня отпуск, чтобы съездить к отцу в Лиманск. Позже стало известно, что до Лиманска он не доехал — слез на станции Новый Кут. Что за дело было у него в Новом Куте? Почему он сказал, что едет в Лиманск?

Или еще одна непростая задача — священник Аркадий Круча.

Круча был на хорошем счету у местных властей: о нем говорили как о лояльном, культурном священнослужителе, он был корректен, выпадов против Советов не допускал, не докучал своей пастве фанатической строгостью, был терпим, даже высказывал вслух довольно прогрессивные суждения о постах, о религиозных обрядах и прочем. Словом, он был вполне современен. А Феде по-прежнему чудилась сабля под мантией.

Раз в месяц Федя приезжал в Нижний Яр с официальным докладом, а после рабочего дня Яша Березень звал его обычно к себе домой.

За этот месяц дома у Яши произошли перемены: к нему приехала мать, поэтому Туровцев и Грохольский переехали на другую квартиру; здесь, кроме Яши, оставался лишь мальчик, которого Яша усыновил. Но хотя коммуна теперь как будто распалась, не успел Яша познакомиться как следует Федю с мамой, по лестнице загремели сапоги, и в комнату, по старой привычке не постучав, вошли Туровцев и Грохольский.

Мальчик не спеша собрал со стола разложенные тетради и книжки, и Яшина мама, худенькая, подвижная, с уставшим, даже измученным, но добрым лицом, — странно, но она напомнила Феде чем-то мать Жоржа Петрищенко — поставила на стол миску с картошкой, сказала, что у нее есть еще, чтоб не стеснялись и ели, а повернувшись к Феде, еще и добавила, что это она привезла с собой, — Туровцев и Грохольский, должно быть, были в курсе ее хозяйства.

Никто не нуждался в особенных уговорах. Картошка исчезла мгновенно.

Гости уселись прочно и уходить, кажется, не собирались. Присутствие Яшиной матери делало эту комнату на редкость уютной, несмотря на то что в убранстве комнаты пока ничего, кажется, не изменилось.

Приятно и непривычно было сидеть за столом возле этой старой женщины с вязаньем в руках и слушать ее неторопливый рассказ о том, какой способный мальчик был ее Яша, и как покойный отец мечтал дать ему образование, и как ей обидно, что Яша останется, кажется, без специальности.

Федю поразило, что у Яши такая обыкновенная мама и еще больше поразило его, что Яша не спорил с ней, что он позволяет ей говорить все, что она хочет, хотя, по мнению Федя, это могло уронить Яшу в глазах товарищей — только, конечно, в глазах товарищей, но не в его глазах, не в глазах Федя Панько. Он-то слишком высокого мнения был о Яше. Оттого он и боялся, что кто-нибудь его недооценит.

Но товарищам, кажется, нравилось слушать речи Яшиной мамы — очень уж они были не похожи на те разговоры, которые обычно велись в этой комнате.

Мальчик, усыновленный Яшей, не отрывал от нее глаз, Гриша Грохольский смотрел на нее так, словно то, что она говорила, было открытием, только Туровцев, сидя в небрежной позе, иронически улыбался — это поколебало Федю, и Туровцев, быть может поймав на себе укоризненный Федин взгляд, вступил с Яшиной мамой в спор.

— А зачем ему образование, Яше? — сказал он весело. — Он, смотрите, и так уже вышел в начальники. Это пока — то ли будет еще. Он у нас хитрый.

Яша взглянул на него и улыбнулся, и Федя опять поразился: зачем позволяет Яша так говорить о себе? Федя же знал, что Яша совсем не стремится в начальники, это скорее уж он, Федя, любит командовать и сам Туровцев — тоже, а Яша совсем не такой! Неужели же Туровцев носит с Яшей одни галифе, ест из одного котелка, а этого не понимает?

— Ах, зачем Яше становиться начальником! — серьезно воскликнула мать. — Какой из него начальник — он и ростом даже не вышел у нас.

Федю снова резануло. Что она говорит! Неужели она не понимает, что за человек ее сын?

— Отец мечтал, что он станет доктором, — сказала с сожалением мать.

Это Феде показалось совсем нелепым. Яша рожден для работы в ЧК, такой справедливый, умный и честный. Представить себе Яшу в белом халате, полнеющим, с золотым зубом во рту — все врачи представлялись Феде по одному образцу, так как за всю свою жизнь он только однажды был на медицинском приеме, когда уходил в армию, — нет, это было решительно невозможно.

Вдруг Яша сказал:

— Если б я родился немного позже, если бы мы уже расправились с бандитизмом и был бы всюду полный порядок, я и правда стал бы врачом.

Федя слушал его и не верил своим ушам.

— Мне кажется, я бы понимал своих пациентов, — продолжал Яша негромко, — понимал бы их душу, как и от чего они заболели, а значит, и знал бы, что с ними делать.



Давно уже Левченко не бывал среди людей своего круга...

Туровцев рассмеялся. Впервые смех его был неприятен Феде.

— Ну конечно, ты у нас добренький, про тебя говорят: Яша живет без печени, желчи, мол, нет в его организме. Говорят, заключенные собирают золото, которое они попрятали от ЧК, хотят тебе памятник ставить при жизни. Заметь — до отбытия срока своего заключения!

— Да, Яша добрый, — сказала мать.

А Яша ответил Туровцеву горячо и убежденно. Федя понял, что они не впервые уже говорят об этом.

— Нет, я недостаточно добрый. Но чекист должен быть добрым! Злой человек не имеет права решать чужую судьбу. Злой человек не имеет права выносить смертный приговор. На это имеет право лишь тот, кому это трудно.

Туровцев отмахнулся:

— Да что с тобой говорить! Ты же у нас философ!

Тогда Яша сказал еще более горячо и убежденно:

— Каждый чекист обязан думать о том, что делает.

Грохольский участия в споре не принимал, он был, пожалуй, на Яшиной стороне — так, во всяком случае, себя успокоил Федя.

Феде всегда казалось, что коммунары не только носят одни штаны и не только едят из одного котелка, — ему казалось до этого вечера, что у них и мысли одни.

Впервые он слышал в этой комнате спор, за которым стояло что-то непримиримое.

А мать, наверное, чтоб разрядить возникшее напряжение, вдруг сказала:

— А мне вот женить хочется Яшу. Внука бы выходила, пока еще силы есть.

Тут уж у Феде окончательно отнялся язык. Если бы он что-нибудь понимал! Ну зачем же Яшина мать так говорит? И зачем Яша ей все позволяет?

— Чекисту, мать, не до женитьбы, — отрезал Туровцев. — Так что об этом вы не мечтайте.

Мать не сдалась.

— Ох, как же матери не мечтать об этом, — вздохнула она. — А я так думаю, если бы Яша встретил девушку, он бы женился.

Яша опять улыбнулся, но ничего не сказал, а Туровцев снова позволил себе расхохотаться. (Федя готов был броситься на него с кулаками.)

— Где ж ему девушку встретить? Он же из ЧК не выходит!

Это вот сказано справедливо, и за эту реплику Федя Туровцеву был благодарен.

Уже было поздно, и Яшина мама предложила Феде остаться у них ночевать.

Сейчас, возвращаясь в Каменку, Федя опустил поводья и полностью положился на Зойку. Вспоминались подробности вчерашнего вечера.

Возможность таких разговоров в Яшиной комнате — это было для Феде ново и неожиданно. Яша в его глазах не только ничего не утратил, но представлялся ему теперь еще значительнее, чем раньше.

Доехав наконец до Каменки и поставив Зойку в конюшню, Федя пошел домой.

Погруженный в свои размышления, он и не заметил, как миновал парадное и прошел через калитку. Давно уже он не показывался во дворе, в дом проходил с улицы, через парадное.

Он оглянулся: скамеечка, на которой Нина сидела по вечерам, теперь пустовала. Двери сарая, расположенного невдалеке от ворот, были раскрыты, и Федя туда заглянул — сделал он это без всякого умысла, просто так, а получилось, что ему опять посчастливилось.

По ту сторону сарая — двери в сарае были сквозные — он увидел Нину Поречную. Нина качала мед. Тонкая белая блузка ее прилипла к спине — тяжело ей было, видно, вращать центробежку. Она стояла спиной к сараю и не видела Федею.

Снова Федя себя почувствовал нужным.

Он подошел к ней и, ни слова не говоря, тоже взялся за чугунную рукоятку, слегка коснувшись своими руками ее руки.

От неожиданности Нина вздрогнула и отстранилась, потом узнала его, улыбнулась и сказала смущенно:

— Ох, это вы.

Теперь они качали вдвоем. Эта работа казалась ему не работой, а веселой игрой.

Федя работал и при этом раздумывал, прилично ли ему будет спросить у Нины про здоровье ее сестры, не решит ли Нина, что он опять напрашивается на слова благодарности; нужно сказать, что из всех заболевших в ту пору холерой в Каменке выжила только сестра Нины

Поречной. Скорее всего, дело решилось не сельтерской водой, привезенной Федей, однако, так или иначе, Федя считал себя как-то причастным к ее выздоровлению. А пока он размышлял об этом и все никак не осмеливался начать разговор, на пороге сарая показалась полная молодая женщина; она взглянула на них и сказала весело:

— Ой, яка добра парочка будэ з вас!

Нина с укором посмотрела на женщину — яркий румянец ее стал еще ярче — и отняла руки от центробежки. Федя продолжал крутить рукоятку, досадуя, что им помешали.

Появившуюся женщину ничто не могло смутить — она была здесь как хозяйка: подошла к Феде, покровительственно похлопала его по спине, засмеялась, показав свои зубы, сказала:

— Ты здесь не теряйся, парень.

Кто была она? Что она имела в виду?

Федя почувствовал, что лицо, руки и шею его заливает густая, горячая краска. Вспомнилась почему-то молодница, появившаяся когда-то в комнате Марии Кузьменко. Везде, видно, есть такие досужие женщины, которым до всего-то есть дело! Пришла, помешала — вот ведь досада!

Нина резко повернулась и побежала к дому.

7

Как-то вечером к Петрищенкам зашел сапожник Грачев, принес им обувь, которую они ему отдавали в починку. Уходя, уже в коридоре, он вспомнил: «Сосед ваш тоже просил починить ему сапоги. Как он, дома сейчас?» Федя услышал это и удивился: он никогда ни о чем не просил Грачева. Мать Петрищенко постучала в Федину комнату, ввела в нее гостя и вышла.

— Здравствуйте! Что ж вы так и не зашли ко мне? — громко сказал Грачев и покосился на стенку, за которой жили Петрищенки.

Грачев был болезненный, немолодой уже человек. До этого дня Федя не был знаком с ним лично, но еще в свой первый приезд сюда заметил его на вечере в клубе: Грачев выступал тогда с каменковским хором, исполнял сольную партию. У него был хороший голос, кажется тенор (в голосах, по правде сказать, Федя не разбирался).

Федя слышал, что этой зимой бандиты убили его сына, работавшего в милиции. Это был его единственный сын.

— Давайте я посмотрю, что там у вас такое,— продолжал Грачев громче, чем нужно было, чтоб Федя его услышал.

Федя в недоумении показал свои сапоги: они действительно нуждались в сапожнике, но Грачев, должно быть, пришел не за тем — он, как видно, хотел что-то ему сказать.

Как же поговорить с ним наедине?

Федя тоже покосился на стенку — он никогда не знал, что это за стенка: то ли Петрищенки говорили так тихо, то ли и правда стенка была глухая — из-за нее никогда не доносилось ни звука.

Но рисковать он, конечно, не мог.

— Сапоги и правда вот-вот развалятся,— громко ответил он, — да ведь отдам их, а больше носить мне нечего.

Это было действительно так.

— А вы приходите, когда будет время,— сказал Грачев,— посидите немного, я при вас почию.

Федя слышал, как на крыльце, уходя, Грачев поделился с матерью Жоржа:

— Вот человек Панько! В начальниках ходит, обыски делает, а сапоги прохудились — ему перемениться нечем.

Федя мысленно похвалил его за осмотрительность.

Теперь его визит к Грачеву совершенно оправдан. Подумав, он пришел к заключению, что и откладывать не к чему. Он постучал к Петрищенкам, уточнил у них адрес Грачева и непринужденно сказал:

— Надо было мне сразу идти с ним. И правда ведь, сапоги не сегодня-завтра развалятся.

Достаточно было взглянуть на уполномоченного, чтобы убедиться в этом: не сегодня, так завтра он действительно мог остаться босым. Словом, поход к сапожнику со всех точек зрения был операцией необходимой и неотложной.

Грачев жил в небольшой хатенке, окруженной густым, разросшимся палисадником; за этой хатенкой высился дом под железной крышей — особняк священника Кручи.

Хозяин усадил гостя на стул перед чурбаном, за которым работал, заставил его разуться и принялся за работу; как только жена вышла из хаты, он отложил

сапоги, долгим взглядом измерил Федю, наконец решившись, спросил:

— Заметили, с кем сосед я?

— Заметил. Как не заметить.

Оглядываясь на стены собственной комнаты и принимая как всякий неопытный конспиратор излишние меры предосторожности, Грачев сообщил Панько, что к батюшке в дом ходит слишком много гостей и, как ему кажется, совсем не по церковным делам. Недавно, оказывается, к нему приезжал откуда-то издалека молодой человек, по выправке сразу видно — военный, хоть и одет он был в штатское. Шторы задернули, а свет не гасили до полуночи. И прислугу отправили в другое село — мёд вдруг стал нужен.

Когда Грачев оглядывался на стены, Федя невольно последовал взглядом за ним и задержался на большой фотографии, вправленной в украшенную резьбой золоченую рамку.

Сейчас, пока Грачев говорил, Федя не мог заставить себя отвести взгляд от фотографии — она висела прямо над головой хозяина.

Конечно, это и был его сын, убитый бандитами.

Толстощекий, здоровый парень в косоворотке (лицо его было знакомо Феде, должно быть, он видел его в милиции в свой прошлый приезд) весело и беззаботно улыбался с портрета, и трудно было поверить, что этот изможденный, болезненный человек дал ему жизнь. Еще труднее было представить себе, что такого полного жизни парня уже нет в живых, а этот человек должен был его хоронить.

Именно с этим, очевидно, и не мог примириться Грачев. Это, должно быть, и толкало его к Панько.

Федя чувствовал, что Грачеву можно довериться.

— Вы бы в церковный хор пойти не могли? — спросил он в раздумье.

— Да не очень я верующий, все это знают.

Теперь только Федя заметил, что в горнице нет иконы, а рамка, в которую был вправлен портрет сына, имела когда-то, как видно, иное употребление.

— Вера — дело такое, может прийти. Вот с сыном у вас несчастье. Вы бы молебен за упокой души отслужили. Батюшке бы покаяться.

Грачев смотрел на него, не понимая.

— Может, нам с вами тогда все стало бы яснее,— объяснил ему Федя.

Это предложение было неожиданно для Грачева, он не знал, что ответить.

— И правда, кто же наш батюшка? — вслух подумал Панько, наконец-то окончательно переключаясь с мыслей о Грачеве на мысли о Круче. — Правда батюшка или петлюровец? Я и сам думал об этом...

— Вы тоже? — почему-то удивился Грачев.

Федя кивнул головой. И эта общность, возникшая между ними, вдруг что-то решила.

— Ладно, я попытаюсь,— сказал Грачев,— только выйдет ли что, не знаю.

Теперь пора было возвращаться к сапожным делам.

8

Непроторенные пути снова привели сотника Левченко в Каменку.

Невдалеке от Каменки на хуторах Караулово за одним из домов рядом с конюшней стояла собачья будка. В этой будке на цепи сидела злая собака: стоило постороннему человеку подойти даже к соседнему дому, она отчаянно лаяла. Под будкой находился тайник, или «схрон», как говорят на Украине. Из «схрона» в будку шла неширокая трубка, предназначенная для вентиляции. Вход в тайник был прорыт из конюшни.

Здесь скрывался после ранения один из активных участников банды, сын хозяйки этого дома, Иосиф Ящур. Ночью он пробирался в дом, а днем не покидал своего убежища.

Огромный, плечистый парень с низким покатым лбом — темные, блестящие волосы его начинались чуть ли не от самых бровей, — он изнывал от безделья в своей темнице. Природа готовила Ящура на роль исполнителя: он был силен и храбр, не знал ни жалости, ни сомнений, не любил и даже не мог утруждать себя бесплодными мыслями, а вот теперь бездействие толкало его к размышлению — на это он был не способен. Он раздражался и доходил до иступления. Страдала от этого мать — единственный человек, с которым общался в ту пору Иосиф: бывали минуты, из подземелья в конюшню летели проклятия.

Когда перед Ящуром в полутьме конюшни, освещенной керосиновой лампой, предстал эmissар, это было наградой за дни, прожитые в тоске и отчаянии. Иосиф был счастлив честью, которую оказал ему пан Петлюра. Он не считал себя столь значительным человеком и никогда не думал, что за кордоном о нем знают и помнят.

По правде сказать, и верно: адрес Иосифа Ящура Левченко получил только здесь, в ступаковской банде, но этого хозяину тайника под собачьей будкой он не сказал. Он знал, чем можно тронуть людей и как овладеть их душой. Душа польщенного Ящура, грубая, неразвита, но цельная и горячая, уже безраздельно принадлежала сотнику. Ящур готов был выполнить его любую команду.

Эмиссар сообщил Иосифу новый пароль и отзыв. Когда придет человек с этим паролем — значит, наступила пора. Любое приказание человека с паролем должно быть исполнено.

В знак согласия Ящур кивал головой. Только скорей бы являлся к нему человек, о котором говорит эмиссар.

Ящур сообщил эмиссару место, где удобно назначить встречу, если в этом будет нужда. В степи, в стороне от дорог и селений, рядом с одинокой могилой стоит хутор Антона Лелеки. За этой могилой издавна ходит дурная слава: говорят, что по ночам из нее слышатся голоса. Люди обычно объезжают эту могилу и этот хутор. Сам же Антон Лелека, человек надежный и молчаливый, живет с женой, без детей. Стоит ему сказать, что об этом его просит Иосиф — он уйдет на весь день в Семеновку, где у него еще один дом, и предоставит свой хутор в распоряжение эмиссара. Живет он на этом хуторе только летом. А если это окажется нужно, он останется и будет ходить в дозоре.

Ящур прощался с сотником так, словно отрывает от себя что-то большое, выпавшее ему на долю только однажды. В эти часы, пока у него гостил эмиссар, он чувствовал себя выросшим сразу на голову.

9

Лето положило под широкие круглые листья крупные солнечно-желтые тыквы, трескающиеся от переизбытка своей зрелой плоти. Земля отвечала благодарностью на щедроты неба.

Хлеб, яблоки, помидоры, картофель — все уродилось. Сдали налог, засыпали свои закрома, заваливали подполья, везли на базар и везли с базара.

На рыночных прилавках высились горы яиц и кувшины сметаны; тут же мычала, хрюкала, хлопала крыльями неубитая, но уже обреченная живность; былолюдно, шумно и весело — рынок стал средоточием общественной жизни.

Появились сельпо — аршинными буквами, выведенными известкой по красному полотнищу, они звали к себе и уже воевали с только что появившимся частником. В сельпо можно было пшеницу сменить на сапоги, ведра и гвозди. Гвозды! Ведь уже годами не видели в лавке гвоздя!

Можно было купить дышло, повозку, хомут для коня — это казалось сказкой. Хомут для коня — это все равно что сапоги мужику, об этом уже давно никто не мечтал. Да и сапоги можно было уже разыскать, и ситец, и даже нитки.

Нитки в сельпо! Это была весть, которая летела по деревням и хуторам со скоростью самого быстрого всадника. Ошеломительней этой вести быть не могло.

Конечно, случалось и так, что на стене сельпо висело строгое, аршинными буквами писанное объявление: «Нитки — только пайщикам!» или: «Ситец — пайщикам!»

Что ж, запишемся в пайщики. Пайщиками становились и те, кто нитки и ситец покупал для себя, и те, кто припрятывал их, чтобы в час перебоя выбросить на частный прилавок по двойной и тройной цене. Как бы то ни было, все пайщики укрепляли свое сельпо.

В Каменке открылась пекарня — когда-то ее отобрали у пекаря Чубенко, а теперь снова вернули ему. Он взял себе двух рабочих, сам засучил рукава, и на каменковский рынок пошли булки и бублики, вкуснее которых, казалось, не было ничего.

Рядом с пекарней человек с немецкой фамилией, приехавший сюда издалека, открыл колбасную. Прохожие с любопытством поглядывали на колбасное чудо: прямо во дворике, перед домом, на выставленных столах возвышались целые горы фарша — здесь же его варили, парили и коптили.

А наискосок снова открылась пивная. Вернулся ее старый хозяин, уезжавший из Каменки в последние годы;

он привозил пиво Штекеля и продавал его в темных бутылках с белыми фарфоровыми пробками на резиновом ободочке, с проволоочной застежкой.

Когда открывали бутылки, пиво выстреливало, с шумом заполняло подставленные граненые кружки и щедро пенилось, а хозяин уже протягивал к кружке бурлящего пива разрезанную надвое булку с вложенным ломтем свежайшей, только что сваренной колбасы — пивная работала в деловом контакте с булочной и колбасной и накладывала пошлину на каждого, кто шел этой улицей: трудно было ее миновать.

Богатели мгновенно. Занял у соседа трояк, купил на него шелудивую лошадь, достал в аптеке зеленого мыла, отмыл, залечил коня и начал извоз: всем надо куда-то ехать, все что-то везут. Не успел оглянуться — уже сколотил капитал. И лопнуть сколоченное тоже могло мгновенно: сунули новоявленному богачу на городском рынке стекло вместо брильянта — и все начинай сначала.

Нэп одних поднимал как пену на гребень прибоа, других сбрасывал вниз — это была стихия случая и удачи; но сквозь эту стихию пробивало себе дорогу то, что было необходимо для жизни, для людей, для страны. Кончился голод, развернулась торговля, люди возвращались к земле.

Землю, полученную от Советов, можно было наконец-то пахать и засеивать — это имело смысл.

К земле возвращались из армии, из городов. К земле возвращались из банд. Все чаще к Панько приходили совершенно незнакомые люди, желающие сообщить уполномоченному, где сегодня расположилась банда, куда бандиты спрятали три пулемета, в какой дом ночью приехал из долгой отлучки сын, вооруженный от головы до ног.

Как-то днем в Луговой, у райпродкома, появился мальчик в одежде, висевшей клочьями, весь в синяках, с окровавленным лбом; он прихрамывал, а правая рука его неподвижно висела.

Мальчик попросил, чтоб вызвали дядю Гришу. В это время шло заседание райпродкома, но комиссара немедленно вызвали. Он сразу узнал в мальчике своего старого знакомого Петера Баума, сына одного колониста из немецкой колонии Мариенфельд.

— Что с тобой, Петер?

— Отец послал меня к вам сказать, что у нас остановились бандиты. Оцепили село и никого не выпускают. Меня поймали, когда я бежал огородами, хотели узнать, куда я иду. Я не сказал, обежал колонию и все-таки вырвался. Отец говорит, что вы побьете бандитов, если войдете со стороны Демидовской балки.

Должно быть, мальчик сказал все, что ему поручил отец, теперь его покинули силы. Он пошатнулся и, если бы его не подхватили, тут же упал бы на землю.

Через десять минут Петер был уже на попечении местных врачей, заседание было прервано, а в сторону колонии Мариенфельд двигался вооруженный отряд.

Как стало известно позже, в бою, который удалось навязать бандитам, они потеряли убитыми около двадцати человек. Был убит и Григорий Ступак, вставший во главе банды после гибели брата в бою под Сергеевкой.

10

В Каменке эмиссару предстоит еще одна встреча. Он должен встретиться с Жоржем Петрищенко. Да, именно с Жоржем. Пока чекист ломает голову над тем, что представляет собой человек, который волей судьбы живет под одной с ним крышей, Жорж спешит на свидание. И отнюдь не к невесте, хотя невеста у него действительно есть. Но одно не исключает другого.

К Жоржу эмиссар не придет. Жорж достаточно осторожен. Он сам придет к эмиссару. И достаточно высок его пост в советской Каменке, чтобы он мог ездить всюду, куда он захочет, никому не давая отчета. И, кроме того, Жорж живет по соседству с чекистом. Он не принимает гостей. Он сам ездит в гости.

Левченко назначил свидание Жоржу через связного. Местом свидания Левченко назвал хутор Лелеки, рекомендованный ему Ящуром. Действительно, хутор Лелеки стоял в отдалении от проезжих дорог, в открытой степи. Это был крепкий, добротный дом под красной железной крышей, с окнами на три стороны.

Левченко назначил свидание в полночь, но сам приехал несколько раньше и отпустил хозяина, который и правда повиновался ему беспрекословно: имя Ящура в данном случае играло роль и пароля, и боевого приказа.

Сотник зажег свечу и прилег отдохнуть. В полночь в окно, закрытое ставнями, постучали.

И вот перед эмиссаром предстал Петрищенко. Молодые люди смирили один другого испытующим взглядом.

Жорж редко встречал людей, в которых он видел равных себе. Обычно общение с другими людьми укрепляло в нем чувство собственного превосходства.

Едва лишь взглянув на эмиссара, он сразу понял, что до Левченко ему пока далеко; превосходство его над собой он ощущал во всем: в его запыленной одежде, в его обветренном загорелом лице с сабельным шрамом через щеку, в пути, который лежал за спиной эмиссара, в его совершенно особой миссии, даже в том, что они были почти что ровесники.

Эмиссар тоже сразу оценил главу каменковской подпольной организации. Да, Жорж играл в Каменке именно эту роль — он привык к первым ролям, это было у него просто в крови, и если бы вдруг сложилось иначе, он бы даже и не обиделся, а лишь удивился бы, что это случилось так, что нарушен порядок, установленный вовсе не им.

В эту пору, когда начинался распад движения, когда многие уже шатались и сомневались под влиянием нэпа, Жорж держал тех, кто остался в подполье, в состоянии напряжения и боевой готовности. Уже давно эмиссар не имел таких плодотворных и свежих связей, как здесь. И сам Жорж — стройный, ладный, в чистой шелковой косоворотке, с лицом жизнерадостным и открытым, а при этом сильным и даже жестким — с первого взгляда понравился эмиссару. Эх, если бы во главе каждой подпольной организации стоял такой человек...

Молодые люди с чувством протянули друг другу руки, а потом, не стовариваясь, одновременно разжали руки и крепко обнялись, и эмиссар дружески хлопнул по плотной спине каменковского главаря — Жорж не позволил бы себе, конечно, такого панибратского обращения с эмиссаром.

Левченко поделился с Жоржем впечатлением, которое на него произвели батюшка, учитель Квитко и Иосиф Яшур, как всегда, рассказал о делах за кордоном, ничуть не скрывая трудностей этапа, в который вступило движение в связи с переходом Советов к нэпу, и тем еще больше внушил симпатию и доверие Жоржу.

В ставни опять постучали.

Жорж вздрогнул, взглянул на эмиссара и покраснел—ему было досадно, что он обнаружил слабость: эмиссар, пришлый здесь человек, оставался спокоен. Очевидно, он ждал этого стука.

Действительно, через мгновение в дом вошел мужчина, одетый в брезентовый плащ с капюшоном, который спускался до самых глаз, смотревших угрюмо и зло. Кроме этих тяжелых глаз, на его лице ничего не было видно: все оно заросло черной взлохмаченной бородой; поэтому Жорж не сразу узнал в пришедшем Чернущенко, который с недавнего времени стал во главе ступаковской банды.

Не постеснявшись присутствия эмиссара, Чернущенко стал нападать на Жоржа: подполье бездействует, сколько времени ни одного боевого акта.

Левченко остановил атамана, сказал, что сейчас перед подпольем другие задачи: не распыляться по пустякам, готовить силы к будущему восстанию, на что Чернущенко резонно ответил, что люди закаляются и проверяются только в делах, безделье же, наоборот, разлагает.

Зашел разговор о советском каменковском активе. Чернущенко был лют, считая, что нужно немедленно вешать, не ожидая лучших времен, тогда, мол, еще дело найдется, а что можно делать сегодня, нужно делать сегодня. Во всяком случае, в том, что нужно сейчас же убрать чекиста Панько, у Чернущенко сомнений не было—уж слишком близко чекист подобрался к ключам от подполья, и еще вопрос, так ли он доверяет Петрищенко, как делает вид. Быть может, это совсем не случайно, что он живет по соседству с Жоржем. Так ему легче, наверное, следить. А если и правда он следит за Петрищенко, он выследит постепенно все связи подполья.

Тут то ли Жорж проявил соседскую слабость, то ли его раздражал грубый нажим Чернущенко: он не считал, что кто-то должен его подталкивать, да еще в присутствии эмиссара. Даже эмиссар себе не позволил такого в беседе с ним.

— Было бы неплохо, если б у нас в отряде было побольше таких боевых ребят, как этот Панько,—упрямо ответил Жорж, может быть, просто из чувства противоречия, которое у него вызывал оголтелый Чернущенко.

— А рохли нам не страшны,— вмешался молчавший какое-то время сотник.— Нужно захватить чекиста и вытряхнуть из него сведения о людях, которые работают против нас. Ну, а уж после этого в живых оставлять его не придется, это само собой.

Так, наконец, скрестились пути эмиссара Левченко и Феде Панько.

11

Панько в этот момент меньше всего думал о том, что ему угрожает опасность. Когда человек в обороне, он чувствует все, что нависло над ним. Панько же был в наступлении: чем дальше, тем глубже он погружался в тайны подполья Каменки.

Сапожник Грачев, на удивление всей Каменке вернувшийся в лоно церкви, давно уже стал своим человеком у батюшки. Круча гордился им — он украшал каменковский церковный хор. Батюшка ввел его даже в церковный совет, в который входили люди, наиболее близкие Круче.

Бабка Евдоха исправно лечила Панько его здоровый желудок, а однажды лукаво сказала ему:

— Только не обижайся. Разные лекарства бывают. Бывают сладкие, бывают поганные. Лекарь тут не виноват.

Он непонимающе посмотрел на нее, а она оттащила его от порога, прикрыла дверь и сказала с укором:

— Спишь рядом с лютым бандитом и в ус, парень, не дуешь.

Жорж? Неужели все-таки Жорж? Сколько раз уже он отводил от себя эту мысль, а она снова возвращалась к нему.

Нет, бабушка Евдоха имела в виду не Жоржа. Бабушка Евдоха рассказала ему про ту собачью конуру на хуторе Караулово, в которой скрывался Иосиф Ящур, один из самых отчаянных парубков в банде, как заявила она; оказалось, что Федя Панько только три дня назад ночевал по соседству с домом Иосифа.

О, у бабушки Евдохи была, выходит, своя разведка!.. И правда, когда три дня назад, возвращаясь из поездки в соседнюю волость, Федя ночевал на хуторе Карауло-

во, у соседей возле конюшни отчаянно выла собака — откуда же знать было Феде, чего она выла?

Вот ведь идешь, слышишь, как брешут собаки, и одна из них брешет, оказывается, совсем неспроста. Как же это узнать, если не иметь верных друзей?

На Караулово поехало три тачанки. Федя взял с собой около десяти человек. Поехал с ним и начальник милиции.

Мать Иосифа Яшура, увидев гостей, сперва испугалась, подалась невольно назад. Потом заметила начальника милиции, которого знали в округе все, и как будто бы даже обрадовалась ему.

— О, да это вы! Проходите. Проходите. Будьте как дома.

Федя взглянул на ее приветливое лицо и поразился: а ему-то казалось, что он уже читает по лицам.

— Дома Иосиф? — спросил он сразу, с порога.

— Что вы, что вы, да он же в Червонной Армии, — сказала хозяйка, и от этой неправды лицо ее вовсе не стало хуже, даже, наоборот, оно как-то все озарилось.

Федя это заметил.

— А мы знаем, что сын ваш дома, — сказал он твердо, и эти слова, как обкатанное железное колесо, прошли по лицу хозяйки и стерли с него всю его открытость, приветливость и обаяние.

Она побледнела, и сквозь эту бледность выступил страх. Теперь она смотрела на незваных гостей как затравленная волчица, оберегающая детеныша, — в животном ужасе, охватившем ее, было что-то вызывавшее жалость. Это превращение, равное прямому признанию, было тягостно Феде, но останавливаться на этом он, к счастью, не мог.

— Скажите, где он, и все обойдется без обыска.

— Да что вы, господь с вами, — потерянно сказала мать.

— Тогда будем делать обыск.

— Делайте. Хоть крышу всю переверните.

Она готова была пожертвовать крышей.

— Да мы крышу трогать не будем.

— А что же?

— Мы в конюшню пойдем.

— Ну, шуйте в конюшне. Там нема ничего.

Ее заставили вывести из конюшни коня и корову.



Иосиф поднялся по поясу над ямой.

— Что же это такое? Такого и не было никогда,— причитала она въедливо и пронзительно, должно быть, чтоб сын улышал ее и сам принял решение.

В углу, за стойками для лошадей, была навалена куча сена. Его стали растаскивать. Каждую минуту из-под этого сена могли выстрелить.

Под сеном лежал ящик с землей. Должно быть, ящик прикрывал вход в тайник.

— Подымайте! — скомандовал Федя.

— Я не подыму его, — сказала она.

— Откуда вы это знаете? Значит, пытались?

— Ну, это уж дело мое.

Видно было, что мать уже потеряла надежду.

— Ну, тогда стойте тут. — Это Федя сказал достаточно громко, тоже для сына.

Взяли лопату, вложили ее между земляным полом конюшни и ящиком, навалились на черенок — ящик чуть приподнялся, тогда Федя опять обратился к матери:

— Теперь поднимайте.

Она нагнулась к ящику и нарочито громко — опять для сына — сказала:

— Еще вам поднимать, — а пригнувшись, прошептала в яму: — Сдавайся, сынок!

— Отойди, мать. — Федя отодвинул ее. — Сейчас бросим гранату, тогда он поймет, что нужно сдаваться.

Мать посмотрела на него с отчаянием и тут же бросилась перед ним на колени.

Это было совсем неожиданно. Федя видел, что сейчас она не лгала. И она походила сейчас на мать Жоржа Петрищенко. Все матери, должно быть, ходят одна на другую. И у бандитов есть матери!

Пока он ее поднимал, Ящур опередил его: бросил снизу гранату — присутствие матери не остановило его, — к счастью, граната не разорвалась.

— Сдавайся, — громко сказал Федя, — а то и мать забереет, и хату спалим! — Потом он добавил: — Сначала оружие выбрось.

Из ямы полетели гранаты, запалы к ним, браунинг и карабин, затем показались руки, потом руки уперлись в края ямы — оставалось подтянуться на них.

Когда Иосиф поднялся по пояс над ямой, его подхватили сбоку, помогли ему вылезти, и вот, наконец, он предстал перед Федей, заросший, небритый, с черной

щетиной волос, начинающих чуть ли не от глаз, злой, набычившийся, пойманный, но нисколько не сдавшийся.

Все уже шло к концу, а парень весь еще был в накале.

Федя хотел тут же кое о чем его расспросить — из этого ничего не вышло.

— Нечего мне говорить, — упрямо сказал Иосиф. — И ни к чему. Все равно расстреляете.

Его увезли в милицию, а на хуторе решили оставить засаду из трех человек. Остался и сам Панько.

Один из них — работник военкомата — улегся на печке, другой — на полотах, Федя же уселся в застеночке.

Хозяйка легла на кровать — кажется, она и действительно заболела. Федя ее жалел: дал ей краюху хлеба, отломанную от каравая, лежавшего на столе, подал воды из ведра.

Засада — дело скучное и неинтересное. Время идет еле-еле, кажется, вот совсем остановится. Хотя бы скорее кто-нибудь стукнул в дверь. И тревожно было при этом: хозяйка могла закричать, выдать засаду. Того, кто сюда зайдет, нужно было задержать без всякого шума живым и невредимым.

Наконец дверь приоткрылась.

Федя вскочил на ноги, на всякий случай выхватил из кобуры наган.

В хату вошел пожилой рябеный мужичок, невысокий и рано обрюзгший. Все в нем было мягким, обвисшим: и одутловатое лицо, и усы, пожелтевшие от табака, и опущенные плечи. Видно было: с таким управиться просто.

Федя вышел навстречу гостю.

— Руки вверх! — Он постарался сказать это сурово, но сам отметил: суровости не получилось.

Мужик посмотрел на свои узловатые, потемневшие руки с короткими пальцами — только в руках и чувствовалась какая-то твердость, — недоуменно повертел ими перед собой и с простодушным лукавством спросил:

— А на шо вам мои руки?

Однако он поднял их, подчинился следующей команде, покорно прошел в комнату и остановился у лавки.

Федя еще не опускал свой наган, а милиционер, оставшийся с ним, обыскал гостя. Оружия у него при себе действительно не было.

— Чего ты пришел?.

- Та до тетки Марины.
- Зачем?
- Муки у нее попросить.

В облике мужика была рыхлость, податливость — таким ли он был или таким только казался?

— А в Оратовке у вас ни у кого нет муки? (Мужик сказал, что он из Оратовки.)

— Есть, да не для меня.

— Почему же?

— Я Марине что-нибудь сделаю по хозяйству, она мне задаром даст.

— А сына нет у нее, чтоб ей помочь?

— Сын ее в армии.

— Это мы уже слышали.

Федя подошел к мужику поближе, разглядел его одежду: старенькая, в заплатках, и вряд ли это для маскировки — в деревне от соседа не спрячешь достаток.

— Ты не кулак, — сказал он с досадой. — Какого черта ты влез в эту историю? Чем тебе советская власть не подходит?

В ту пору по-разному говорили с людьми, попавшими в руки чекистов: слишком велики были порой преступления арестованных, да и права чекистов были достаточно велики. И не всякий мог себя удержать от гнева. И не всякий считал, что нужно себя сдерживать с теми, кто замахнулся на молодую советскую власть.

Но Федя предпочитал спокойный и сдержанный разговор. Просто он больше давал. К тому же Яша Березень голоса на допросах не поднимал — это для Феди тоже было немаловажно. Впрочем, если б не Яша, быть может, и Федя бы когда-нибудь не выдержал, крикнул...

Уж очень досадно было порой; ну вот этот землю ж получил от Советов, что ему надо? Сам с собою воюет?

Реже стали попадаться такие убежденные люди, такие истинные враги, как Иосиф Яшур. Чаше встречались люди, просто сбившиеся с пути: они легко шли навстречу тому, кто разговаривал с ними по-человечески.

Так случилось и в этот раз: мужик и действительно оказался рыхлым, податливым. Феде показалось, что он даже рад развязаться с тем, что его, как видно, уже тяготило.

Он назвал себя Цебриком Яковом Ивановичем и рассказал, что приходил к Ящуру по поручению хуторянина Антона Лелеки, который велел передать Ящуру, что сбл хлопца на прежнем месте и ждут распоряжений. Что это за хлопцы и где они находились, Цебрик не знал. Должно быть, его использовали для необычных поручений, но многого, видно, ему не доверяли.

Хоторянин Лелека был жителем соседней волости; Феде пришлось передать туда показания Цебрика, а Цебрик обещал держать язык за зубами.

12

Жорж Петрищенко сообщил в УЧК, что ему известен тайник, в котором бандиты хранят оружие: винтовки и пулеметы. Тайник находился в пределах Каменковской волости, и взять оружие должны были поручить Феде Панько. Так и случилось.

Федю вызвали в Нижний Яр, показали ему докладную Петрищенко, предложили ему ехать вместе с Петрищенко за оружием. Яша Березень при этом, как показалось Феде, был неспокоен, просил Федю держаться внимательно и осторожно, советовал ему взять с собой еще одного человека.

На этот раз он позволил себе больше, чем раньше, и прямо сказал Феде, что еще неизвестно, что на уме у Жоржа и зачем он решил отдать сейчас этот тайник — мог ведь он это сделать и раньше. Правда, Жорж утверждал, что об этом тайнике он узнал только теперь, и даже рассказывал, как это случилось.

Пренебрегать предложением Жоржа, конечно же, не годилось: отдача оружия бывшим бандитом считалась актом его окончательного разрыва с бандой — в праве на это никто не смел ему отказать.

Федя считал, что Яша предлагает ему взять еще человека только потому, что тревожится за него. Но, по мнению Феде, так поступать не стоило. Если Жорж действительно без заднего умысла, нельзя было его разоблачать перед бандой — оружие могли перепрятать: его отъезд из Каменки в сопровождении двух человек был бы замечен; с Федей же они не раз выезжали из Каменки вдвоем: состязались в езде верхом, сравнивали своих лошадей — Жорж был тоже отличный кавалерист.

Да и нельзя было Жоржа оскорблять недоверием — все же никто не имел оснований утверждать, что его предложение сделано не от чистого сердца.

Эти соображения имели отношение к делу.

Но были у Федя и личные соображения, к делу отношения не имевшие. Впрочем, что в жизни чекиста принадлежит только ему и не имеет отношения к делу? Так тесно слиты его жизнь и его работа.

Не мог Федя унижить себя перед Жоржем. Ни в чем он ему не уступал — ни в седле, ни на футбольном поле. Не мог он себя показать перед Жоржем трусом, сказать ему: ты поедешь один, а мы едем вдвоем. Нет, поедут они один на один. А там будь что будет.

Вернувшись домой и сразу же, еще не войдя в свою комнату, столкнувшись с Жоржем в сенях, Федя как будто между прочим спросил:

— А где хранится это оружие?

Жорж не удивился, что Федя знает о донесении. Оказалось, что оружие хранится на хуторах Черные Кошары, за огородом хуторянина Куца, рядом с запрудой.

Ехать Жорж предложил на рассвете в субботу, сказав, что подводу для перевозки оружия можно будет взять у этого Куца, — видно было, что он уже все продумал.

Из Каменки условились выехать рано утром, шляхом, идущим в обратную сторону. Затем со шляха нужно было перебраться балочкой на проселочную дорогу, а там уж тропочкой, через луга и поля, прямо в Кошары. Жорж полагал, что за день можно добраться до цели.

В пятницу Зойка захромала, ехать на ней Федя не мог.

Жорж посоветовал взять коня у одного богатого хуторянина, жившего недалеко от Каменки: конь был в хорошем теле, но рыхлый; Федя провел его по двору и не стал седлать, взял коня у Сидорченко, нового начальника милиции, присланного на место Кушнера, который теперь работал в уезде.

С начальником милиции Федя решил поделиться тем, что ему предстояло: кто-то в Каменке должен был знать, куда он поехал и где искать его, если он не вернется вовремя. Конечно, все могло быть. Яшу Федя заверил, что беспокоиться не о чем, но сам в душе был готов ко всему.

Выехали, как условились, на рассвете по холодку. У Феди были при себе две гранаты, маузер и еще карабин за плечами, Жорж, как заметил Федя, тоже был не без оружия. Ну что же, не на прогулку собрались.

Главное — ехать рядом, не упускать Жоржа из виду. Жорж был предупредителен: там, где путь шел тропинкой, пропускал Федю вперед.

Федя не уступал ему в вежливости — тоже старался где можно дать Жоржу дорогу.

А по правде сказать, не так уж и приятно ехать, когда у тебя за спиной человек, о котором не знаешь, что и подумать: кто он тебе — друг или враг? И, кроме того, когда едут всадники — заднему легче: конь тянется за передним.

Словом, больше они ехали рядышком: то скакали галопом, то переходили на рысь, иногда отдыхали — отпускали поводья и все посматривали один на другого, кто первый устанет.

Хорошо ехать в паре с таким наездником, как Петрищенко! Лицо Жоржа было возбуждено быстрой ездой. Видно было, что он испытывал истинное наслаждение оттого, что в седле, оттого, что под ним добрый послушный конь.

Федя любовался своим партнером и начинал думать: нет, нет, Жорж такой, какой он виден сейчас, и сомневаться ни в чем не надо!

А потом в душу заползал холодок: а такой ли?

Договаривались ехать — не останавливаться.

Но потом Жорж признался, что немного устал — было уже за полдень. Феде польстило такое признание, у него еще силы были. Жорж предложил заехать подкрепиться и отдохнуть на хутор, что виднелся в стороне от дороги.

Причин отказать у Феди, пожалуй, не было: и правда, стоило дать отдохнуть коням.

Хозяин оказался знакомым Жоржа, он сразу взялся за лошадей, а Жорж повел Федю в горницу — видно было, что он здесь часто бывает и ничуть не стесняется. Хозяйка, на вид добродушная женщина, встретила Жоржа как своего, сразу накрыла стол так, как накрывают для самых лучших гостей.

Немного посидев за столом, Федя пошел на конюшню: ему захотелось взглянуть на коней.

Кони были напоены и накормлены — они уже нехотя жевали пахучее сено. Хозяйских лошадей здесь почему-то не было, не висела на стене и упряжь.

Хозяин, вышедший из горницы вслед за Федей, поймал его взгляд и объяснил:

— Сыновья мои только что до Нижнего Яра поехали, вот и опустела конюшня.

Потом хозяин еще постоял, посмотрел на коней, как-то странно взглянул на Федю и вдруг сказал:

— Знаете, я бы вам не советовал ехать туда, куда вы собрались.

— А откуда вы знаете, куда мы собрались?

— Через мой хутор дорога только на Черные Кошары ведет. А там, говорят, недалеко — Черный Ворон.

Федя понял, что он имеет в виду Платона Чернущенко.

— Откуда вы это знаете? — спросил его Федя.

— Раз говорю, значит, знаю. — Хозяин остановился, потом добавил: — Знаете, с Платоном Чернущенко шутки плохи. Я б не со-



ветовал,— повторил он еще раз.

Федя взгляделся в него. Это был немолодой человек — приземистый, широкий в плечах, должно быть, умелый и крепкий. На хуторе у него все было добротное и ладно. По дому, и по конюшням, и по моложавой, не уставшей еще от жизни хозяйке видно было, что он не из бедных. Что ему надо? О чем он тревожится? Почему берет на себя эту заботу?

Еще не зная, как ответить на эти вопросы, Федя уже решил, что послушать его, наверное, стоит. Все же он спросил недоверчиво:

— Что ж тут такого? Мы ж не к Ворону едем.

— Глядите, как бы вам к нему не попасть.

Хозяин смотрел на него озабоченно, так, как если бы все это близко касалось лично его самого.

— Да обратного пути уже нет.— Это Федя сказал в раздумье не столько хозяину, сколько самому себе.

— Ладно, я что-нибудь сделаю. Вы в хату идите. Только молчите.

Теряясь в догадках, Федя пошел в дом. Скоро вернулся и сам хозяин. Так же как и хозяйка, он был хлебосол: умел угощать, умел подлить в стопочку самогону так, что не откажешься; с Жоржем, как видно, они были на короткой ноге. Он расспрашивал Жоржа о матери, об отце, о сестре и о братьях.

Жорж хотел было уже собираться. Хозяин его удерживал:

— Дай отдохнуть лошадям. Я засыпал овса — вам же еще далеко, наверное.

Потом он поднялся из-за стола, пошел еще подсыпать овса, вернувшись, сказал Феде:

— Ваш конь что-то жалуется на переднюю ногу.

— Да что вы, не может быть,— встревожился Федя.

— А вот пойдемте посмотрим.

Жорж, выпивший, но нисколько не опьяневший, тоже встал и пошел за ними.

Федя нагнулся, провел рукой по передним ногам коня; лишь только он дотронулся до правой, конь поднял ногу. Федя пощупал роговицу — конь сразу отдернул ногу. Все трое переглянулись: это значило, что с конем и правда неладно.

— Я вхожу, вижу, он жалуется на ногу,— повторил хозяин.

— Как же так, нам нужно ехать! — сказал Жорж раздраженно.

Федя не знал еще, какое принять решение, — в это время он встретился с долгим, спокойным взглядом хозяина и понял, что эта болезнь — дело его рук и что именно это он и хочет ему сказать: взял, должно быть, ухналь и вогнал его в мякоть копыта — прием, знакомый в те времена хуторянам.

— Были б мои кони дома, — сказал хозяин, — а тут, как назло...

Жорж сказал, что коню-то, пожалуй, теперь все равно: что назад идти, что вперед. Но нужно отдать справедливость: он не давил на Федю, ни на чем не настаивал, даже сказал:

— Твой конь, ты и решаешь.

Федя решил вернуться, с тем чтоб поехать на той неделе.

На обратном пути Жорж ничем не обнаружил досады: был, как всегда, приветлив, так же шутил, так же лихо держался в седле.

Через несколько дней они действительно поехали снова — Зойка была уже совершенно здорова; но для поездки был выбран не тот день, который назначил Жорж, а другой. К этому времени были приняты меры, которые заставили банду уйти из Кошар.

Снова завиднелся с дороги хутор, где они были в субботу, и конь Жоржа уже повернул было к знакомому дому, но Жорж натянул поводья.

Они благополучно достигли Черных Кошар, и вечером за одним из огородов Жорж стал разрывать землю возле запруды. Оказалось, что здесь был закопан ржавый пулемет и четыре винтовки без затворов. Правда, Жорж говорил, что пулеметов должно быть два, а винтовок восемь: кто-то, очевидно, часть оружия успел перепрятать.

В Каменку они вернулись на рассвете другого дня. Жорж был точно такой, как всегда, но Федя уже знал, что никогда ему больше не будет так просто с Жоржем, как прежде. Да и было ли ему когда-нибудь просто с Жоржем?

Задание выполнено. Федя как был живым, так живым и остался: видно, убитым ему не быть — заморожен. Но

что ж все это значило? Не думать над этим Федя не мог.

Твердо знал он только одно: хозяин хутора не из тех людей, которые болтают пустое. Да и какой был ему смысл? Другом Фе́диным он тоже, конечно, не был. Был он, как видно, старым приятелем Жоржа и, кажется, даже больше — его семьи. Что же заставило его так поступить? Ведь он действовал против Жоржа и не о Жорже пекся — это же ясно. Должно быть, он знал о том, что в тот день предстояло его гостям, больше, чем и теперь знал Федя. Кто знает, не отводилась ли этому человеку какая-то роль в том, что было задумано? Когда и куда отправил он своих сыновей? Не уехали ли они как раз в тот момент, когда Федя и Жорж показались на дороге, ведущей в хутор? Быть может, хозяин не хотел разделить с Жоржем ответственность за то, что случится дальше?

Сдав оружие в милицию, Федя вернулся домой и с сожалением посмотрел на стену, которая отделяла его от Жоржа. Да, очевидно, так это и есть: он под одной крышей с врагом.

Честно говоря, жаль было, что Жорж потерян.

13

Наконец объявился Онисько.

Давно уже в кровле, покрывавшей распятие у криницы под Шуровкой, лежала записка, в которой Федя назначал Онисько новый тайник: криницу с тремя крестами невдалеке от Каменки. Здесь, в кровле, покрывавшей один из крестов, Онисько должен был положить записку и в ней назначить место и время встречи.

Все эти месяцы Федя безуспешно ездил к обеим криницам, и вот в его руках записка Онисько, положенная уже в новый тайник.

Онисько назначал встречу на один из двух ближайших субботних вечеров в рощице за оврагом, окружавшем Каменку.

Как видно, он не был уверен, что Федя своевременно получит записку. Но так случилось, что Федя приехал в рощицу в первую же субботу.

Когда Федя увидел Онисько, неловко спрыгнувшего с невысокой лошади, он сразу понял все, что случилось.

Онисько, красавец Онисько хромал: как видно, он был ранен в одном из боев. Так вот почему так долго он не давал знать о себе!

Как человек, ничем никогда не болевший, Федя был потрясен тем, что ему открылось, но Онисько, как видно, уже свыкся со своей хромотой и не придавал ей значения.

Слегка припадая на правую ногу, но все такой же краснощекий и полный сил, Онисько бросился к Феде и так сжал ему руку, что Федя едва не крикнул.

— Ох ты, чертяка,— сказал он, освободившись от железной руки товарища.— Ох ты, медведь!

И они вдруг вспомнили случай из их общего детства. На школьном дворе издавна лежал большой камень-валун. Никто не мог его сдвинуть с места, а вот Онисько раз подошел, приложился к нему плечом, и камень вдруг подался; было тогда силачу не больше четырнадцати-пятнадцати лет.

— Силы в тебе не убавилось,— сказал с восхищением Федя, любуясь товарищем, который, казалось, еще раздался в плечах и вырос за это время.

Только теперь Федя решился спросить, где и когда был ранен Онисько. Оказалось, Онисько был ранен в одном из боев в начале весны, вскоре после их встречи. Его привезли на Семеновские хутора, где он отлеживался до недавнего времени,—ранение было тяжелое, с переломом кости.

Федя смотрел на товарища с чувством вины. Кто знает, может, это его пуля повинна в том, что случилось. Надо было ему весной разрешить Онисько уйти из банды.

Но Онисько, кажется, и не думал об этом. Чудесный характер был у его товарища! Ничуть он не был убит и своей хромотой.

— Знаешь, меня отпускают теперь из отряда,— сказал Онисько, ничуть не скрывая своего удовлетворения этим фактом,— так что, Федя, и тебе придется меня отпустить.— Он добавил это смущенно, тоже, видно, чувствуя себя виноватым.

— О чем же может быть разговор,— сказал Федя, также смутившись: вышло так, что в банде пожалели Онисько раньше, чем он, Онисько понял его.

— Что ты думаешь? Просто они не считают меня больше воякой.

Славный Онисько! Как он все понимал!

— Будем считать, что ты ушел из банды по амнистии, — предложил ему Федя, — а кроме того, я тебе дам от ЧК бумагу, чтоб в будущем никто никогда не вспомнил тебе, что ты имел отношение к банде.

Онисько взглянул на свои большие, сильные руки.

— Руки целы — это вот главное. Хочется мне пахать. У батяки земля не пахана — силы у него не хватает.

Нет, Федя не мог осуждать Онисько за то, что тот мечтал вернуться к земле, в то время как Феде еще предстояли дни, полные опасностей и тревог.

Онисько тоже натерпелся немало, пожалуй, даже больше, чем Федя. И не об отдыхе он мечтал ведь, а о труде.

— Ты приезжай, Федя, ко мне в Яблунец, — пригласил Онисько.

— Я к тебе на свадьбу приеду, — пообещал Федя.

— Ну, это я не знаю еще, кто из нас первым успеет, — усмехнулся Онисько. — У меня ведь нет пока никого. А у тебя?

Федя смолчал. Не по скрытности — он просто не знал, как ему ответить на этот вопрос.

Ничего нового из того, что касалось банды, сообщить Феде Онисько не мог. Все эти месяцы он пролежал на хуторе и ничего о банде не знал. Не знал он ничего и о Жорже Петрищенко. Единственное, что он Феде смог сообщить, — это место пребывания раненого фельдшера банды Антона Антоновича Череднюка. До этого Онисько взял с Феде слово, что Череднюк останется жив и невредим. Онисько сказал, что Череднюк уже давно тяготился своим пребыванием в банде и ему хотелось бы вывести фельдшера из игры. Это хороший человек и знающий медик: ему Онисько обязан выздоровлением.

Прощались Федя с Онисько как братья, и каждый считал себя чуточку виноватым перед другим, хотя ни за тем, ни за другим вины, конечно же, не было. Просто они были людьми разной судьбы, и перед каждым лежал свой путь, не похожий на путь другого.

Из Шуровки пришла весть: убит Ваня Лазаренко. Бандиты снова совершили налет на Шуровку. Произошло это вечером.

Ваню захватили на квартире какой-то девушки. Как потом стало известно, его выследил Лихояр, где-то скрывавшийся все это время после разгрома шуровского подполья. У Вани потребовали сведения о тех, с кем он связан по чекистской работе, и, конечно, ничего от него не добились.

«Делайте со мной что угодно — это вам не поможет, все равно всем вам конец». И Ваня, по своему обыкновению, сплюнул, но прямо в лицо Лихояру, державшему его за руки. Потом он вырвался и надавал Лихояру пощечин. Тогда Ваню связали, потащили на площадь перед волисполкомом и тут зарубили.

Было уже время привыкнуть к смертям, и все же Федя не мог примириться с мыслью, что нет больше этого веселого, честного и бесстрашного парня. Феде казалось — не будь Ваня в тот вечер у девушки, все бы сложилось иначе. Ваня был безусловно храбр, но как он был беспечен! Одно уже то, что бандиты знали, где им его искать, говорило об этом. А ведь не то ли ждало когда-то и его самого в комнате Марии Кузьменко? Федя снова во всех подробностях пережил эту, уже забытую им историю.

Может ли он ручаться, что никогда ничего подобного больше с ним не случится? Уговорил же он тогда свою совесть, себя самого, что эти поездки к Марии нужны для дела. И Ваня, наверное, уговорил себя так же.

Федя ездил по волостям на своей неизменной Зойке и думал о Ване и о себе, о том, что ему делать с девушками, которых он не хотел замечать, но замечал и которые тоже заглядывались на лихого кавалериста, а еще больше о том, что ему делать с собой — зарекайся, не зарекайся, а не успеешь опомниться и попадешься. И опять уговоришь себя, что это нужно для дела. А для дела и правда нужно было не чураться людей, ближе быть к молодежи.

И вдруг Федю осенила счастливая мысль: надо жениться! Надо жениться, и тогда ты застрахован от случайной беды! Почему ты тогда застрахован? Почему

в доме жены тебя не найдут с тем же успехом, что и в доме знакомой девушки? Ведь не все девушки такие, как Мария Кузьменко. И разве нельзя ошибиться в жене? Этих вопросов Федя себе не задавал.

Он решил, что иужно жениться, а раз он так решил, то так начал и действовать.

На ком жениться? Об этом он даже не думал: сомнений в этом быть не могло. Быть может, и мысли его приняли вдруг такой неожиданный оборот лишь потому, что слишком уж много места в его душе заняла последнее время Нина Поречная. Случилось это как-то совсем незаметно для него самого. И, быть может, он снова только уговорил себя, что решает вопрос в интересах дела и в связи с судьбой Вани Лазаренко — скорее всего, мысль о женитьбе пришла к нему сама по себе, независимо от прочих событий, но как это часто бывает, придя, стала искать себе подкрепление среди размышлений совсем иного порядка.

Как позже Федя узнал, женщина, помешавшая их с Ниной работе на центрифуге, была вдовой убитого бандитами старшего брата Нины. Как ни досадовал Федя на это непрошеное вторжение, оно тоже оказалось ему на пользу. Все ему шло на пользу!

Теперь уж Нина не могла не заметить его, когда он выходил во двор; увидев его, она всякий раз, должно быть, вспоминала бесстыжные слова своей озорной невестки, ей становилось неловко, и яркая краска со щек опускалась на шею и поднималась по ровному, прямому пробору.

Это делало Федю гораздо смелее.

Познакомилась с Федей Нинина мать — старшая дочь ее уже оправилась от болезни. Старушка, увидев Федю, подошла к нему, перекрестила его и сказала ему, что он спас ее дочь: он может верить в бога или не верить — это ее не касается, она же всегда будет теперь за него молиться.

Этот разговор тоже происходил при Нине и смутил ее еще больше, чем шутка невестки, а Федя стал после этого еще увереннее, чем раньше.

Больше он никогда не ходил через парадное в дом. Жаль только, что он возвращался из своих поездок по

волости часто так поздно, что двор уже был пустой, а уезжал так рано, что все еще спали.

Теперь Федя знал о Нине больше, чем раньше. Федя слышал, что у Нины уже давно есть жених — латыш, комиссар полка, стоявшего когда-то в Каменке. Знал, что комиссар пишет ей письма, просит ее не ждать лучших времен и приезжать к нему в полк, а Нина почему-то не едет. А раньше еще, это он тоже слышал, у нее был другой жених — адъютант атамана банды, действовавшей тогда в Каменке, той банды, которая убила ее старшего брата, вернувшегося с войны инвалидом. В тот вечер, когда бандиты ворвались в дом Нининого отца, адъютант атамана увидел впервые Нину. Отец ее побоялся совсем отказать бандиту, но, надеясь на время, сказал: «Пусть пройдет год после смерти сына, тогда и сыграем свадьбу». Год еще не прошел, как бандиты сами убили своего атамана и его адъютанта, — Нина стала свободной. Все это делало Нину еще более необычной в глазах Феди Панько.

Федя часто видел Нину не только там, где он жил, но и на совещаниях актива в уезде: Молодую учительницу, которую в Каменке уже полюбили, часто посылали в уезд на конференции, наверное, потому, что она не имела семьи и, значит, была свободнее, чем другие. Но Феде казалось: раз ее посылают в уезд, значит, она своя, особо проверенная, советская, значит, ей-то уж можно доверить свою судьбу.

Что бы ни узнавал он о ней, все говорило в ее пользу, даже то, что она старше его. Два года — срок небольшой, но Федя уже по опыту знал, что девушка смотрит на парня, который моложе ее на два года, как на мальчишку.

Нину красил ее возраст — делал ее более недоступной. Не такой человек был Федя Панько, чтоб отступить перед тем, что казалось ему недоступным.

Нужно было лишь выбрать время и поговорить с ней серьезно. Но пока он подбирал подходящий момент для серьезного разговора, Нина исчезла. Больше она не появлялась вечером на своей скамейке.

Скоро Федя узнал, что Нина уехала на другую квартиру, — люди говорили, что она поссорилась с мужем старшей сестры, а Феде почему-то показалось: ее переезд имеет какое-то отношение к тому, что тогда произошло у медогонки.

Он направился к ней, твердо решив в этот же вечер договориться с Ниной, нисколько не сомневаясь в успехе.

Нина жила в учительском доме, в небольшой чистенькой комнатке, очень похожей на комнатку Марии Кузьменко. Она была одна — мать ее осталась со старшей сестрой. На овальном столике, перед окном, были разложены ученические тетради. Полка, пристроенная над аккуратно застеленной койкой, была заставлена книгами.

Федя впервые был в ее комнате. Он оробел от этой строгости и чистоты.

Нина встретила его без особого удивления, даже, кажется, ничуть не смутившись. Здесь, без родных, она себя чувствовала, как ни странно, много спокойнее и прочнее. Это озадачило Федю и даже, пожалуй, убавило его смелость. Задуманного разговора он все же решил не откладывать.

Нина молча выслушала его предложение, потом улыбнулась и сказала не то серьезно, не то шутя — он так и не понял:

— Вы же в церковь идти не можете, а я без венца не пойду.

За этим ли только стало дело или то была отговорка?

Федя рассердился, уехал по делам службы в соседнюю волость, вернувшись, повторил свое предложение и получил тот же ответ.

Нет, в церковь идти он, конечно, не мог. Даже ради Нины Поречной. Он мог пойти с Ниной в волисполком и там печатью скрепить свой брак, но Нина сказала, что в волисполком она ни за что не пойдет: там все ее знают, она ходит туда по своим служебным делам и вдруг придет туда регистрировать брак — все будут смеяться. Нет, ни за что!

Федя снова ушел ни с чем. Главное — он не знал, была ли проблема венчания единственным препятствием к их женитьбе, а самолюбие мешало ему спросить Нину об этом.

Федя все это время помнил о показаниях, данных Цебриком, но трогать Лелеку пока разрешения не было — за ним наблюдали. Случилось, что место пребывания двух бандитов, о которых Лелека передавал через

Цебрика Иосифу Яшуру, стало известно председателю волисполкома Верейко раньше, чем Феде, — в ту пору борьбой с бандитами занимались не только чекисты, и это было в порядке вещей. Оказалось, что оба бандита скрывались на летнем хуторе Антона Лелеки. Сам же Лелека к осени перебирался в деревню.

Федя в тот день был в отъезде. Председатель волисполкома не стал ждать его возвращения, взял с собой несколько человек из актива и поехал на хутор Лелеки.

Когда Федя, вернувшись в Каменку, узнал об этом и поскакал к хутору Антона Лелеки, бой здесь был уже кончен. Один из бандитов, скрывавшихся на хуторе, был убит, другой ранен в ногу. Как раз в тот момент, когда Федя приехал сюда, председатель волисполкома спускался в подвал. За ним последовал Федя. Здесь стоял большой продолговатый ящик, на котором кто-то сидел. Света, что падал сюда, было недостаточно, чтобы сразу увидеть, кто это был. Федя зажег огрызок свечи и увидел худощавого мальчика лет двенадцати, сидевшего, подтянув к подбородку колени. Он был взъерошен, мрачен и исподлобья волчком смотрел на тех, кто появился в подполье.

— Ну, малец, чего ты тут делаешь? — спросил его Федя, против воли мягко и ласково.

Мальчик ничего не ответил.

Когда его попросили сойти с сундука, он не шелохнулся.

Федя подошел к нему, сгреб в охапку — мальчик был очень легкий — и осторожно поставил его на пол. Мальчик вцепился ему в руку зубами, потом сжал кулачки и отошел в сторону, не проронив ни звука.

На сундуке висел небольшой замок.

Когда его сбили и приподняли крышку, оказалось, что сундук доверху набит винтовочными патронами.

Стоило Феде погрузиться руками в патроны, мальчик бросился к нему и яростно крикнул:

— Вы не имеете права! Скоро народ соберется и устроит чистку милиции и волисполкома! Я это слышал!..

Федя опешил. Десять пулеметов, наставленных на него, не могли бы подействовать сильнее, чем этот яростный, звонкий мальчишеский голос.

Кто ж этот мальчик? Как он попал сюда? Одет он был бедно, в старую залатанную одежку. Конечно же,

он не мог быть сыном Антона Лелеки. Да и не стал бы Лелека рисковать собственным сыном, посылая его сюда.

— Да это же Колька! — воскликнул вдруг председатель волисполкома Верейко — он был каменковский и знал чуть ли не всех в округе. — Колька Подворный, двоюродный племянник Антона. Мать его, беднячка, вдова, всю жизнь батрачит на своего богатого братца. Вот и Кольку он уже приспособил. Ты что, Колька, еду приносил сюда этим двоим? — обратился он к мальчику.

Мальчик не стал отвечать. А когда Верейко, нагнувшись над сундуком, набрал полную горсть патронов, он снова не выдержал и, прижимая к груди кулачки, крикнул:

— Не смейте! За нас всевобуч заступится, тогда вы узнаете!

Панько и Верейко переглянулись. Конечно же, мальчик сгоряча повторил то, что слышал в дядином доме. Так вот как использует Жорж всевобуч!.. Вот к чему он готовит своих ребят!..

Когда Федя докладывал Яше Березню о событиях на хуторе Антона Лелеки, Яша сказал, что время ареста Жоржа еще не пришло: нужно еще за ним посмотреть.

Потом он помолчал и добавил:

— Дело не только в том, что Жорж уже разоблачен до конца. Песенка Жоржа спета. Но ты понимаешь другой смысл того, что сказал этот мальчик?

Ни о каком другом смысле Федя, по правде сказать, не подумал — зато теперь он внимательно слушал Яшу.

— Всевобуч, чистка милиции, понятия права, законности — все, о чем говорил нам мальчик, все это понятия наши, советские, — продолжал Яша неторопливо, словно проверяя себя. — И все это наши враги хотят использовать против нас. И наши завоевания, и наши просчеты, которыми мы дискредитируем порой свои завоевания. Это и есть лозунг: «Советы без коммунистов!» Демагогический, очень опасный лозунг... Это, если хочешь, то, что для нас опасней всего.

Федя слушал его и гордился тем, что Яша, так глубоко все понимающий в жизни, не только ему начальник, но, как казалось Феде, и друг ему.

Грачев обладал способностью, когда это нужно, немедленно отыскивать Федю Панько, где бы он ни находился,— можно было подумать, что и у него есть своя разведка.

Однако пока все, что он мог сообщить Феде, не выходило за пределы тех смутных догадок, которые были у каждого из них и до обращения Грачева в христианскую веру.

На этот раз Грачев нашел Федю у Нины Поречной.

Посердившись на Нину, Федя снова стал к ней заходить, не заговаривая больше уже о женитьбе. Предлогом для посещений всегда были книги, которые Федя брал почитать у Нины, а потом получилось, что он должен не только книгу вернуть, но и спросить Нину кое о чем, связанном с книгой. (Порою Федя хитрил: чтобы иметь возможность скорее сюда вернуться, он выбирал книги, которые давно уже знал.)

В этот раз только Федя вошел и расположился за овальным столиком с книжкой и только Нина отправилась вскипятить чай, в комнату постучали, и на пороге показался Грачев.

— Я кожу достал шевровую. Кажется, вы мечтали о сапогах,— сказал он, очевидно не зная, о чем можно говорить в этом доме.

Федя подставил ему стул и сказал:

— Можешь говорить совершенно спокойно.

В этот момент вернулась в комнату Нина; удивленно поздоровавшись с новым гостем, она взглянула на Федю и, хотя тот не сделал ни малейшего жеста, поняла, что ей лучше уйти.

Федя проводил ее благодарным взглядом.

Когда Нина ушла, Грачев вынул из портсигара старинной работы одну папиросу и протянул ее Феде.

Федя достал бумагу спички, но Грачев улыбнулся:

— Да нет, товарищ Панько, это не то.

Он осторожно вытряхнул папиросу, и из нее высунулся краешек свернутой в трубку тонкой бумаги. Грачев потянул за краешек, и в руках его оказалась узкая полоска бумаги, мелко исписанная карандашом.

Федя поднес полоску к глазам и прочел: «Недалеко то

время, когда разразится большая буря. А пока нужно иметь терпение и молиться богу. Вы горячитесь».

Он встретился глазами с Грачевым. Что означало содержание этой записки? Под бурей, которую обещал Круча, нужно было предполагать, очевидно, какое-то активное выступление. С этой мечтой расстаться было, как видно, немислимо. А пока Круча, как и подобало его духовному сану, призывал к терпению и к молитвам.

Очевидно, этой запиской Круча хотел сказать, что нужно пока заняться моральной подготовкой восстания, временно отказавшись от разрозненных боевых действий. Больше того, он хотел осадить чью-то горячую голову, кому-то он делал выговор.

Так, во всяком случае, понял записку Федя.

— Как это попало к тебе? — спросил он Грачева.

— Батюшка просил меня съездить в Ново-Марьяновку, передать папиросы учительнице Марии Кузьменко.

Так вот кому предназначалась эта инструкция!

Разоблачить себя более явно Круча не мог. Достопочтенный батюшка, кумир своего прихода, и девица, легко оставляющая у себя запоздавших гостей, — они были вместе. И то и другое было не больше, чем маска.

Федя нашел на Нининой этажерке листочек тонкой бумаги, вырезал полоску точно таких же размеров, снял копию записки, вытащенной из папиросы, и Грачев водворил записку на прежнее место.

Теперь они должны были ехать в разные стороны. Федя решил немедленно взять копию записки в Нижний Яр. Грачеву нужно было ехать с оригиналом по назначению.

Кашлянув перед дверью, на пороге комнаты появилась хозяйка с самоваром в руках. Совсе не плохо было согреться чаем перед дальней дорогой.

Федя имел возможность еще раз оценить качества Нины Поречной. Не только ее красоту, но ее такт и ум.

17

Федя думал, что немедленно получит приказ об аресте Кручи; ему казалось, что и с Жоржем пора кончать.

Яша Березень снова сказал ему, что не нужно спешить: не все раскрыто еще, нужно пока изучать подполье; сигнал к действию будет дан общий по всему Нижнеярию.

Тогда, мол, бандитизм и подполье вырвем сразу, со всеми корнями.

Федя, по правде сказать, ехал домой разочарованный.

Все в нем было готово к самым активным и самым решительным действиям, а нужно было еще выждать. Куда ему деть эту скопившуюся в нем жажду окончательных действий?

А раз не пришло время таких действий на службе, Федя решил, что пора приводить в окончательный порядок собственные дела.

Вернувшись в Каменку, он пошел к своему давнишнему — еще со времен отряда — товарищу, секретарю волисполкома, и рассказал ему о препятствиях, которые стояли на путях его личной жизни.

Мысль о том, что Нину может остановить что-то, кроме вопроса венчания, к этому времени Федя отверг, как совершенно негодную, так и не став выяснять с ней этот вопрос.

Товарищи посоветовались и разработали почти военную операцию, которая не принесет успеха, по их представлениям, не могла.

В ближайшее же воскресенье часов в десять утра у дома, где жила теперь Нина, остановилась группа людей во главе с уполномоченным УЧК: здесь были секретарь волисполкома — он держал в руках какие-то конторские книги и папки, — инструктор наробраза, кто-то еще из исполкома и сам начальник милиции.

Нина открыла им, уже привыкнув к тому, что Федя Панько не раз просил у нее разрешения посидеть в ее комнате с каким-то товарищем, провела их к себе и, по своему обычаю, удалилась на кухню.

Через некоторое время Нину позвали в комнату; она вошла в стареньком синем передничке, с невытертыми руками, оторванная от какой-то работы на кухне.

Ученические тетради, которые перед приходом гостей она разложила на столике, были решительно сдвинуты. Стол занимали раскрытые конторские книги.

Секретарь волисполкома сидел за столом вооруженный ручкой, напротив него сидел Федя Панько, двое других за отсутствием стульев стояли возле стола.

Нина взглянула на них и, очевидно, решила, что ее снова хотят отправить куда-нибудь на совещание в Нижний Яр, а может быть, дальше.

— Нет, нет, я не поеду,— сердито проговорила она.— Почему это всегда я должна всюду ездить? Мне надоело уже. Мало ли что у меня нет семьи. Пусть теперь едут другие.

— Что вы, Нина Александровна, вас никто никуда не посылает,— удивленно проговорил секретарь исполкома,— и как раз, представьте себе, наоборот. Вот подпишите только кое-какие бумаги.

— Какие бумаги? — спросила Нина, вытирая мокрые руки о свой передник.

— Да вы подпишите, пожалуйста, а потом уж посмотрите, — улыбаясь, сказал секретарь исполкома.

— Что ж, вы считаете меня вовсе за глупую,— обиделась Нина,— никаких бумаг я не подпишу, пока не узнаю, что это такое.

Секретарь посмотрел на Федю Панько и на остальных товарищей, как видно, поколебался, потом произнес решительно:

— Ну что с вами делать? Читайте. Так уж и быть.

Бумаги, разложенные по столу, являли собой одну из первых в Каменке регистраций гражданского брака. Это были отпечатанное в типографии брачное свидетельство в двух экземплярах, только что заведенная книга записи актов гражданского состояния и еще какие-то конторские книги, взятые, наверное, для пущей важности.

Все это было уже заполнено, всюду были проставлены фамилии Федора Андреевича Панько и Нины Александровны Поречной, всюду, где следовало, стояла размашистая подпись Панько — теперь требовалась только подпись Поречной; всюду вслед за пропущенным местом, оставленным для ее собственноручной подписи, стояла в скобках ее фамилия, выписанная красивейшим почерком.

Все было решено без нее! Ее ни о чем не спросили — в ее согласии были совершенно уверены!

Нужно было осмелиться на такое, но смелость, как известно, была отличительным качеством Феди Панько. И не просто смелость, а смелость-расчет.

Нина взглянула на Федю, и взгляд ее сказал ему многое.

Нужно признаться, что отважный Федя Панько в эту минуту выглядел совсем не героем. Конечно же, он бы

был опозорен перед всей каменковской советской властью, собравшейся в этой комнате, если бы Нина сейчас при всех от него отказалась; не говоря уж о том, что при этом была бы сорвана попытка советской регистрации брака, что происходило в Каменке той порой вовсе не так уж часто; не говоря уж о том, что Нина была ему очень нужна.

Нина еще раз уничтожающе взглянула на Федю (должно быть, она его поняла), на всех собравшихся в комнате, молча взяла протянутую ей ручку с пером, быстро поставила всюду, где нужно, свою подпись и немедленно вышла из комнаты.

Федя поднялся и вышел за нею на кухню. Тут же, в присутствии двух соседок, не понимающих, что же случилось, она объяснила ему:

— Я не хотела, Федор Андреевич, делать из вас посмешище перед товарищами. Я не поступила с вами так, как вы поступили со мной. Но знайте, что подпись моя ничего не означает.

Федя озадаченный вернулся к своим друзьям.

Через несколько минут на кухне появился секретарь волисполкома. Нина сидела на табуретке и плакала. Возле нее стояли встревоженные соседки и безуспешно пытались узнать, что же стряслось.

Секретарь волисполкома объяснил, что только что состоялась регистрация брака Нины Александровны Поречной и Федора Андреевича Панько, что он просит их от имени каменковского волисполкома подготовить к вечеру настоящую свадьбу.

Нина не двинулась с места, а соседки, получившие боевую программу, немедленно стали действовать.

Представители каменковской власти, в том числе и жених, тут же ушли — несмотря на воскресный день, у каждого из них было множество дел, жизненно важных для Каменки.

Когда вечером они вернулись сюда, стол был накрыт, а Нина так и сидела на табурете, все в том же синем передничке, такая же заплаканная и огорошенная, как днем.

Так просидела она и весь вечер своей необычной свадьбы — правда, уступив настояниям, она перешла с кухонного табурета на отведенное ей место за накрытым столом. Все веселились и чувствовали себя, как



обычно себя чувствуют люди на свадьбе близких друзей, и только Нина вела себя здесь как случайная, незваная гостья.

Нельзя сказать, чтобы это было очень приятно Феде Панько, но все же он был уверен, что все обойдется, и когда посреди веселья в комнату вошел работник волис-

полкома и, вызвав Федю на улицу, сообщил ему, что на соседнее село напали бандиты, он простился с Ниной, несмотря на ее суровый и неприступный вид, так, как прощаются с законной женой.

Давно, наверное, пора объяснить, что же за человек была Нина Поречная. Пока же читатель знает о ней не больше, чем знал о ней в день своей свадьбы Федя Панько, а знал он о ней в тот день, по правде сказать, вовсе не много.

Допустим, он видел ее яркий румянец. Но мог ли он себе представить, сколько огорчений доставлял ей этот румянец. У других молодых учительниц, работавших вместе с Ниной, были бледные, вполне городские лица, и они действительно походили на интеллигентных людей, которым можно доверить работу в школе. Нина же, как ни старалась, ничего не могла поделать ни со своим деревенским румянцем, ни со своим деревенским видом — по ее представлениям, учитель должен был выглядеть вовсе не так. Но она и действительно как была, так и оставалась деревенской дивчиной.

Ей приходилось и пахать, и сеять, и объезжать лошадей. Она отлично скакала верхом, умела стрелять, хоть и совсем не была боевой, — отец ее всему научил. Каменка издавна была беспокойным местом, здесь каждый должен был уметь себя защитить.

В событиях, происходящих в Каменке, Нина не очень-то разбиралась; она долго не знала, кем работает Федя, и это, пожалуй, было ей даже неинтересно.

Первое время, когда Федя приехал в Каменку, она видела, что по селу скачет на коне туда и сюда долговязый парень, еще вовсе мальчишка; наверное, нравится ему, что получил в свое распоряжение лошадь, — вот он и ездит! Ей и в голову не приходило, что этот мальчишка может иметь какое-то отношение к ней. Но с тех пор уже утекло много воды.

Федя стал говорить с ней о женитьбе — она отговаривалась, но в душе уже склонялась к тому, что так это и будет.

Правда, муж сестры и двоюродный брат корили Нину за то, что она принимает у себя голодранца, объясняли

ей, что Федя — чекист и что принимать в доме чекиста честной девушке просто позорно; Нина считала, что их это не касается. Однако она была слишком серьезна, чтоб торопиться с таким решением. Излишняя уверенность Феди, проявленная им в день их сочтения, так оскорбила ее, что, ставя подпись в книгах волисполкома, она искренне верила в то, что никогда не станет его женой. Зачем он все сделал не так, как делают люди? Почему ни о чем ее не спросил? Она бы и так пошла за него, и, если всерьез говорить, все обошлось бы и без церкви. Теперь же Нина считала себя действительно опозоренной. Наверное, вся Каменка уже знает о ее ни на что не похожей свадьбе.

Как сказать это матери? Как после этого оставаться в Каменке? Как здесь работать?

Федя не приехал и к утру. Утром, еще до работы, Нина направилась к матери, холодея от разговора, который ей предстоял.

Мать уже не спала: увидя в окошко Нину, она вышла навстречу к ней. Нина решила, что лучше уж сразу...

— Мама, я вышла замуж, — сказала она, не веря, что набралась духу произнести такие слова.

— За кого же, доченька? — удивительно спокойно спросила мать.

— За Федю Панько.

Мать перекрестилась и облегченно сказала:

— Ну, слава богу, ты будешь счастлива.

И сразу все, что казалось Нине нелепым и невозможным, вдруг представилось ей как что-то естественное, необходимое, такое, что должно и могло быть только таким, каким было.

Да, воистину Федя Панько родился в рубашке. Трудно было выбрать в спутники жизни человека более надежного и верного, чем Нина Поречная.

Это был еще один выигрышный билет, безошибочно вытащенный Федей Панько из шкатулки судьбы.

Вернулся он с операции только к вечеру — пола шинели его была прострелена, от рукава был оторван клочок.

Нина вдруг поняла, что он мог и не вернуться, — до сих пор об этом она как-то не думала.

Так началась ее жизнь жены боевого чекиста. Он седлал свою Зойку и уезжал на день, а то и на два и на три. Знать, где он, что с ним, жив ли он, она не могла,



Нина схватила винтовку и выстрелила в сторону всадников.

пока он не вернется. Она пекла его любимые пироги, старалась узнать, что он любит и что не любит (впрочем, любил он все), и поджидала его.

Было из чего уже печь. И урожай она собрала на отцовом участке, и на работе получала оклад по пуду зерна в месяц, да и на рынке уже все продавалось. Федя свою зарплату часто не успевал вовремя получать, но она без нее обходилась.

Чистя его одежду, она не раз замечала уже понятную ей небольшую дырочку с оборванным краем. Что это значит — она теперь знала, а как он удачлив — этого знать она не могла.

19

Скоро молодая семья Панько получила боевое крещение.

Федя решил, что пора показать молодую жену матери и отцу. Родители его снова жили на руднике: как только отец узнал, что восстанавливают рудник, он сразу бросил маслобойный завод, где он работал после отряда. В первый же день, когда нужно было ехать к Яше Березню с очередным докладом, Федя попросил в милиции второго коня, запряг его вместе с Зойкой в легкую тачанку и взял с собою жену.

Нина волновалась перед этой поездкой, не знала, как ее примут, пекла пироги, чтобы не приехать с пустыми руками. А у ворот дома, где жили родители Феди, их поджидала Федина мать. Удивительный она была человек! С тех пор как ее старший сын вернулся из армии и начал жить своей новой жизнью, которая была куда тревожнее, чем жизнь на войне, когда бы ни приехал Федя домой, она всегда ждала его у ворот, словно отсюда и не уходила, пока его не было. Так безошибочно слышало ее материнское сердце.

Но вот все было уже позади: и Нинина робость, и осторожная сдержанность матери в первый день их приезда. Федина мать никогда не бросала на ветер слов, потому-то она и не спешила обогреть теплым словом молодую невестку, пока не увидела, что Нина хоть и ученая, но скромная и простая. Расстались же они как родные; Федя возвращался в Каменку довольный и матерью и женой.

Когда молодая чета въехала в балочку перед самой Каменкой, уже вечерело. Впереди перед ними мелькнули фигуры трех всадников и крестьянская пароконная подвода, потом прогремел выстрел и пуля просвистела над их головами, никого не задев. Не такой был Федя Панько, чтоб поддаваться пулям, да еще при молодой жене в первый месяц женитьбы. Услышав знакомый посвист, он крикнул Нине: «Ложись!», а сам перепрыгнул на переднее сиденье, натянул вожжи и, пригнувшись, погнал лошадей из балки вправо, наверх.

Всадники летели за ними, подвода быстро покати-лась к селу.

Нина схватила винтовку — она до этого лежала между молодоженами — и выстрелила в сторону всадников.

Да, она была настоящей женой боевого чекиста! Федя и не думал, когда знакомился с ней, что такая тихоня и скромница может спустить курок.

— Бери сумку с патронами! — скомандовал Федя, гоня всю лошадей.

Нина отстреливалась, положив винтовку на спинку заднего сиденья тачанки.

Оглянувшись, Федя увидел, что больше погони нет: всадники уезжали по балке вперед, а подводчик, выбравшись на дорогу, спешил к селу. Федя решил догнать его — теперь присутствие молодой жены ничуть не мешало ему, напротив, он чувствовал за своей спиной поддержку.

Тачанка мчалась наперерез подводе, наконец поравнялась с ней, Федя кинул вожжи Нине и прыгнул с тачанки на подводу. Седок не успел опомниться, как Федя выхватил у него вожжи, зажал их левой рукой, а правой направил на седока наган.

Обернувшись к жене, Федя крикнул: «Езжай за мной!»

Он гнал лошадей к Каменке, искоса поглядывая на седока: это был дядько немолодых уже лет, одетый посередняцки. Видно было, что он перепуган и таиться не будет.

Федя пригнал подводу к милиции. Через несколько минут состоялся допрос.

То, что показал на допросе дядько, превзошло все ожидания: оказалось, он встретился в балке с двумя бандитами и передал им какой-то сверток от батюшки

Кручи; бандиты же просили его сказать Круче, чтоб тот соблюдал осторожность, так как в ближайшее время в Каменке начнутся крупные аресты.

Вот оно что! Этого даже и Федя еще не знал! Банда, как видно, была осведомлена и о работе ЧК...

Немедленно в Нижний Яр на имя Березня полетела по проводам шифрованная телеграмма.

20

Дело Жоржа Петрищенко пополнялось новыми фактами. Вышедший по амнистии вместе с Жоржем молодой парень Андрей Бурко сообщил Панько: Петрищенко ругал его за то, что он назвал в УЧК имена людей, связанных с бандой: вышел, мол, сам, ну и молчи; мол, Петлюра еще вернется и спросит с кого надо.

Стал известен еще один факт: в бытность свою работником ЧК Жорж отпустил бандита Петрова. Это сделано было по договоренности с руководством ЧК: Петров должен был снова вернуться в банду и работать там на ЧК. На самом же деле Жорж послал вместе с Петровым шифрованное письмо на имя Федора Ступака, в котором советовал атаману с Петровым покончить.

Наконец пришла шифрованная телеграмма из органов соседнего округа: там вели дело повстанкома и нашли в материалах самого последнего времени имя Жоржа Петрищенко. Феде было теперь понятно, почему недавно еще Березень просил его не спешить. Но теперь уже все подполье, все его связи с бандами, все квартиры и села — все было перед чекистами как на ладони.

Время пришло.

Круча и Петрищенко были арестованы в один день.

Петрищенко решили арестовать не в Каменке, а в Нижнем Яру. Панько передал Жоржу, что Туровцев просит его подъехать в ЧК — он якобы хочет посоветоваться с ним по какому-то делу. Жорж поехал в ЧК и был взят, как только переступил порог комнаты, в которой работали Березень и Туровцев.

В то, что это конец, Жорж не поверил. Он продолжал игру, хотя игра была уже кончена. Он, как и прежде, изворачивался, лукавил, смотрел на тех, кто его допрашивал, чистыми голубыми глазами и даже порою в ответ на вопросы смеялся, совсем как будто бы от души — ве-

село и заразительно, так, что нельзя было не улыбнуться в ответ. Как и прежде, все, что он говорил, вдруг становилось удивительно похожим на правду. Но значения это уже не имело.

На его вопрос Панько не поехал — пользы делу это бы не принесло, а по-человечески это было ему неприятно. Он-то ведь понимал, что его поединок с Жоржем уже окончен.

Зато арест Марии Кузьменко поручили ему — должно быть, по старой памяти.

Впервые с тех пор, как его унесла отсюда верная Зойка, он подъезжал к этому дому.

Волновала ли его предстоящая встреча? Нет, пожалуй что, нет. Во всяком случае, так он себе говорил. Сейчас он просто не мог понять, как это так случилось, что, уже зная Нину, он потянулся тогда к Кузьменко.

Нужно отдать справедливость: Кузьменко в эту ночь проявила немалую выдержку.

Услышав стук в окно и ржанье коней, узнав, конечно, голос Панько, она, очевидно, поняла, зачем к ней приехали, но не открыла, пока не привела себя в полный порядок.

Раскрыв наконец дверь, она отступила в комнату, прямо встретила Федин взгляд, презрительно улыбнулась и сказала спокойно:

— Теперь твоя очередь. Что ж, один побоялся приехать?

— Да, теперь моя очередь, — ответил он так же спокойно. — А удалось бы тебе тогда, очередь бы моя не пришла.

— Такое мне, значит, счастье.

Он взгляделся в ее побледневшее, но красивое, как прежде, лицо (только очень недоброе! Как он тогда этого не видел?), окинул взглядом ее расшитую юбку-плахту, расшитую кофточку и просто сказал:

— Счастьем твоему не завидую.

— Где уж там.

В те дни началась широкая ликвидация бандитских групп и подполья во всем Нижнеярье.

Федя по двое, по трое суток не заезжал домой. Заскочит, наконец, и часто не один, а с товарищем, уничтожит все, что у Нины наварено и нажарено для него, набьет карманы ватрушками, оставит ей вместе с неж-



Кузьменко в эту ночь проявила немалую выдержку.

ной запиской немытые миски и порой, не дождавшись ее возвращения (Нина по-прежнему работала в школе), снова уедет.

Ездили то верхом, то на тачанках, а то и в санях, застревали в степи, застигнутые пургой, даже плутали — декабрь и январь стояли метельные, снежные.

Случалось, что в гимнастерке у Федя лежал ордер на арест, а тот, кто должен был быть арестован, еще совсем не считал, что пришло уже время сдаваться. Хутора нередко встречали чекиста как крепости: вспыхивали бои.

Приводя в порядок одежду мужа, Нина снова нашла на шинели едва заметную дырочку.

— Видно, счастливая твоя дочка, — сказала она.

Так узнал Федя Панько, что скоро он станет отцом.

21

Как раз в этот момент снова пришла весточка от Онисько. Где-то там, в Яблунце, он мирно пахал свою землю и даже, не отстав от приятеля, уже сыграл свою свадьбу, но так случилось, что он еще раз сумел оказаться полезным Феде Панько.

Человек, присланный им к Панько, сообщил, что эмиссар Левченко решил перейти на легальное положение и устраивается конторщиком в управление Борского рудника с подложными документами на имя Макухи. Присланный был молодой, крепко сложенный парень, должно быть, физически выносливый и крепкий. Последнее время Левченко держал его при себе заординарца. Теперь, становясь мирным конторщиком, Левченко его отпустил. Он вернулся к себе на родину в Яблунец и всем поделился с Онисько, своим земляком и бывшим товарищем по отряду, а тот посоветовал ему сообщить о Левченко и тем искупить свою вину перед советской властью.

В своей записке Онисько просил верить этому парню.

Федя немедленно связался по проводу с УЧК — в тот же день на руднике был арестован новый конторщик.

Боевой эмиссар, не дававший спуска ни себе, ни другим, в облинии скромного работника советского рудника! Было бы неверным сказать, что националистическое движение на этом себя совсем исчерпало, но оно отказывалось пока — до лучших времен — от активных действий,

забивалось в такое подполье, откуда не было ни видно, ни слышно. Все действия в будущем связывались снова с вторжением из-за кордона, но вера в это вторжение уже иссякала.

Практически для миллионов людей это значило: мир.

С бандитизмом было покончено, и уже не нужно было Феде Панько ходить по Каменке с маузером на боку.

Панько получил приказ о переводе в уездный центр.

Нина Александровна ради такого события сшила ему новые галифе из своего не надеванного ни разу пальто. Можно было уже купить и на рынке штаны — миллионы сменились твердыми, устойчивыми деньгами, но таких роскошных галифе купить, конечно, еще пока бы не удалось, а Федя любил приодеться — это Нина за ним заметила.

В Нижнем Яру Панько дали квартиру на первом этаже старого двухэтажного дома. Полы были разбиты, из-под половиц выбегали крысы — они ничуть не боялись новых хозяев. А молодая хозяйка боялась их. Боялась, но как в этом признаться Феде, который ни черта, ни дьявола, кажется, не боится и снова уже на коне, снова по горло в работе.

Не было пока ни посуды, ни мебели, ничего, кроме Нинино овалного столика, привезенного из Каменки, и ее узкой кровати, да еще широкой перины, взятой у Нининой матери. Перину стелили на пол, а за каждой мелочью Нина на первых порах должна была бегать к соседям.

Так начиналась на новом месте жизнь молодой семьи. Но все это казалось неважным. Важно было, что с бандитизмом покончено, что впереди работа ничуть не легче, но вовсе другая и ее нужно освоить.

И еще важно было, что скоро в этих пустых комнатах появится дочка. Феде, в отличие от большинства отцов, хотелось иметь именно дочку. Уже спорили, какое имя ей дать.

К начальнику ОкрГПУ пришел человек, только что вернувшийся из армии. Он заявил, что ему в руки попало письмо любовного содержания на имя его сестры. Автор письма, как ему призналась сестра, не кто иной,

как ее жених Сергей Сергеевич Андриюшенко, скрывающийся теперь в Песчанске под фамилией Цыба и преподающий в тамошней школе историю и украинский язык.

В Песчанск были немедленно направлены три работника ГПУ, в том числе Федя Панько, назначенный старшим. Андриюшенко нужно было взять так, чтобы у него на квартире не догадались об аресте.

План действия сложился у Феде еще в пути. По приезде в Песчанск он попросил заведующего наробразом вызвать в отдел учителя Цыбу. К Цыбе направили нарочного с запиской. Только начинался учебный год, и в таком вызове не было ничего подозрительного. Однако на всякий случай одного из своих товарищей Федя послал на пристань: Песчанск стоял у реки, вдали от железной дороги. Андриюшенко мог уехать отсюда только на пароходе.

Сам же Федя с другим товарищем в ожидании Андриюшенко расхаживал по тесному коридорчику исполкома.

Придет или догадается и не придет? Что в таком случае будет делать? Оповестит ли тех, кто с ним связан?

Минут через тридцать в конце коридорчика появился прилично одетый человек лет тридцати, среднего роста, подобранный, энергичный, с умным живым лицом, с темными, типично украинскими усами. Федя никогда не видел фотографии Андриюшенко, но стоило ему увидеть этого человека — он уже не сомневался в том, кто это, хотя и не так просто было поверить, что вот перед ним наконец-то именно тот, за кем ему приходилось гнаться, сутками не слезая с коня, и кто до этой поры казался неуловимым.

Да, это был он! И он, наверное, тоже понял, кто перед ним и зачем его сюда вызвали. Так показалось, во всяком случае, Феде. Андриюшенко не попятился назад, не остановился, а сделал еще шаг и еще шаг вперед, поравнявшись с Федей, встретился с ним взглядом и потянул на себя дверь, ведущую в комнату, которую занимал наробраз. Федя и его товарищи вошли за ним. Навстречу им поднялся из-за стола заведующий наробразом.

— Знакомьтесь, это и есть наш новый учитель Цыба,— сказал он Феде и пояснил, обернувшись в сторону Андриюшенко: — Вот приехали товарищи из округа, хотят побеседовать с вами.

Вряд ли, представляя друг другу приехавших и своего нового педагога, заведующий наробразом понимал смысл предстоящей встречи.

От Феди не ускользнуло, как лицо Андриюшенко внезапно сделалось белым, затем он, видимо, справился как-то с собой и спокойно повернулся в сторону Феди.

— Чем могу вам служить, товарищ... простите, не знаю вашего имени...

— А я ваше имя знаю, — ответил Федя. — Вот что, Андриюшенко, едьте с нами. Довольно уж вам тут учительствовать.

Заведующий наробразом схватился за стол — он был поражен, как видно, больше, чем сам Андриюшенко.

— Я Цыба, — возразил Андриюшенко. — Вы меня с кем-то спутали.

— Вот поедем, там разберемся: мы ли вас спутали, вы ли, Сергей Сергеевич, хотите запутать нас.

— Ну, если так, в бирюльки играть не буду, — вдруг совершенно просто сказал Андриюшенко, — чистую работу я уважаю. Как вам удалось?

— Опытом будем делиться позже, — усмехнулся Панько. — Пока вы напишите записку хозяину дома. Сообщите ему, что уезжаете на несколько дней.

В тот же день Андриюшенко доставили в ОкрГПУ.

Сразу признав свое причастие к петлюровскому подполью, других показаний он не давал, пока спустя недели две или три не убедился в том, что чекисты и без него знают уже достаточно много. Тогда он заговорил, поняв, что его молчание уже ничего не изменит.

Допрос, как полагалось по новым законам, вел специальный следователь. Федя только присутствовал на допросе.

Показания Андриюшенко были для него особенно интересны: ему хотелось увидеть свою работу глазами противника. Видно, и у Андриюшенко было такое желание. Он тоже пытался что-то узнать у Феди. Об иных операциях они вспоминали вместе, подсказывая друг другу детали.

Словом, это был разговор двух серьезных партнеров. Андриюшенко уже навсегда выбывал из игры и, в отличие от Жоржа, отдавал себе в этом отчет. Панько был в самом начале пути, ему разговор этот был особенно важен.

Он убедился в том, что Онисько был у Андриюшенко вне подозрений, — собственно, о самом Онисько разговора, конечно же, не было — только видно было, что Андриюшенко уверен во всех своих людях: предположение, что в его отряде мог быть человек, работавший против него, вызвало у него ироническую улыбку. В этот момент допроса Федя почувствовал себя очень хитрым.

Зато совсем по-другому чувствовал он себя, когда Андриюшенко выразил удивление тем, что взятый в плен раненый Сокол лежал без охраны.

Только теперь перед Федей раскрылась истинная картина драмы, разыгравшейся в шуровской больнице. Оказывается, Онисько был прав. Люди из шуровской банды не принимали участия в этом убийстве. Пожалуй, никто из них и не пошел бы на убийство товарища. Во всяком случае, толкать их на это не было смысла. Это сделала банда другого уезда, причем убийцы не знали, кого убивают, считали, что коммуниста, а в здешней банде считали, что это сделали коммунисты. Так остроумно придумал все Андриюшенко — кажется, и сейчас, перед Федей, он гордился этой своей операцией.

Вот как это было! Федя слушал, не спуская глаз с Андриюшенко. Вот каков был его противник!

Но что значит ум, когда он пытается одолеть движение жизни?

23

Полный света и солнца воскресный мартовский день. С утра все скрепило морозцем, а каждый знает, как хватает за щеки морозец в марте, каким неласковым и стеклянным бывает холодный воздух ранней весны. Но к полудню солнце пригреет, и все распустится и обмякнет, и курица, наверное, напьется из лужицы, а это — примета дружной, доброй весны.

В Луговую, где по воскресным дням бывает базар, с утра шли подводы и сани — уже запрягали телеги и еще не бросали сани.

На одну из запоздавших подвод, как узнали позже, подсел неизвестный мужчина лет тридцати пяти, одетый в серую свитку.

О чем разговаривал он с хозяином, этого никто не узнал, только проехали вместе они недолго.

Неизвестный выстрелил и спрыгнул с подводы — так случилось, что этого никто не видел. Для тех, кто ехал на рынок, было поздно, и дорога в Луговую не была такой многолюдной, как час назад. Следующая подвода шла на большом расстоянии, а когда она поравнялась с этой, лошади уже отошли с дороги в сторонку и щипали прошлогоднюю траву, проглянувшую из-под сошедшего снега. Сам хозяин лежал в подводе на спине и жадно смотрел в безоблачную мартовскую синеву.

Ему успели задать только один вопрос: «Кто ж это так тебя?» Он ответил: «В серой свитке», — и тут же забылся. Больше он уже не пришел в себя.

О происшествии сразу стало известно в местном транспортном ГПУ.

Федя Панько — он только что приехал сюда для делового разговора с одним человеком — сразу подумал, не Платон ли это Чернущенко? Пожалуй, что, кроме него, все бандиты уже переловлены.

Что могло произойти в подводе?

Быть может, хозяин признал Платона и не догадался, что об этом лучше смолчать?

Быть может, он и не признал его, а просто разговор зашел о бандитах и хозяин сказал, что все уже надоело и, мол, хорошо, что с ними уже управились. Платон такого бы не простил.

Гадать было поздно и главное — бесполезно.

Не прошло и десяти минут, как в ГПУ пришло еще одно донесение: на рынке среди других ходит человек в серой свитке, спросил у кого-то, как пройти на Васильевскую улицу.

— Он! — сказал убежденно Федя. — Он! Больше и никому!

— Но зачем же ему понадобилась вдруг Васильевская улица? — усомнились чекисты.

О, Феде нетрудно было представить это себе. На Васильевской улице жил теперь Череднюк, который прежде был фельдшером банды, а после того как Онисько сообщил Феде его координаты, дал органам ценнейшие показания. Федя выполнил обещание, данное Онисько. Фельдшер был жив и невредим и свободно жил на частной квартире. К нему и сейчас чекисты обращались то с тем, то с другим вопросом. И тот деловой разговор, ради

которого Федя приехал сейчас в Луговую, должен был состояться именно с Чередуком.

Да, конечно, Чернущенко мог приехать в Луговую для того только, чтоб попытаться покончить с фельдшером — удивительно, что бандиты не сделали этого раньше. Судьба Алексея, задушенного бандитами в Шуровке, подсказывала такое решение. Если Чернущенко брался за это сам, значит, поручить это дело ему уже было некому. Значит, и правда атаман нижнеярской банды остался совсем один.

Все это пронеслось в сознании мгновенно, объяснять это было некогда. Федя попросил поставить охрану вокруг дома, где жил Чередунок, а сам присоединился к двум чекистам — железнодорожникам, которые тут же направились на базар.

Это был шумный, многолюдный базар, такой, какими уже бывали базары весной двадцать третьего года. Тут не только шла продажа и купля с баснословным запросом фантастических цен и постепенным сбрасыванием цены тому, кто умел толково поторговаться, — между рядами ходили цыганки, гадали судьбу; забредший сюда издалека старик показывал фокусы с ученой собачкой; тут же велась бойкая распродажа счастья, запрятанного в небольшие пакетики, которые распределяла между людьми мудрая свинка.



Где оно, счастье? Какая твоя судьба? Здесь, на базаре в Луговой, можно было решить все сразу.

По правде сказать, Федя любил иногда походить по базару, потолкаться в шумной пестрой толпе, где каждый хочет слукавить и обойти другого, с любопытством поглядеть на старую утварь, бог весть откуда взятую и разложенную на тряпочке по соседству с вынесенным на продажу мешком муки. На базаре шумела жизнь, и хотя она была совсем не такой, какой представляли ее себе после победы молодые чекисты, все же это была жизнь, и потому здесь было весело и интересно.

Сейчас Федя шел по базару, ничего этого не видя, не замечая. Он видел сейчас только мужские лица. Он вглядывался в каждое мужское лицо и, не решив, что это не тот, кого он должен найти, не отрывал своего цепкого взгляда.

Дело в том, что Платона Чернущенко, которого он искал, он никогда не видел и представлял себе лишь по описанию, но он был уверен, что сразу узнает его, как только увидит.

Одни продавали товар стоя, другие расхаживали, третьи сидели — кто на чурбане, кто на скамеечке, принесенной из дома.

Там, где продавались сбруя, уздечки и прочее снаряжение, Федя увидел человека, присевшего на корточках рядом со стариком продавцом, сидевшим прямо на тряпке перед своим товаром.

Заросшее бледное лицо этого человека было угрюмо, одет он был в серую свитку. Но в серую свитку здесь были одеты многие.

Федя столкнулся взглядом с его глазами, и вдруг в этих глазах вспыхнуло что-то такое, мимо чего нельзя было пройти. Это было отчаяние затравленного, дикого зверя.

Да, это, вероятно, и был Черный Ворон—Платон Чернущенко, и он, кажется, знал Федю в лицо. Осторожность для него уже не имела смысла. Он не двигался с места и смотрел на Федю в упор. Собственно, что же ему еще оставалось?

Федя выхватил из кобуры пистолет, направил его на этого человека, скомандовал «Руки вверх!» и впервые увидел, что этой команде можно не подчиниться.

В этот же самый момент, может быть одновременно с Федей, Чернущенко, если это был он — полной уверенности у Феде пока не было, — тоже стал доставать из-под свитки, из кармана штанов, наган. Наган зацепился курком за рваный карман и не хотел вылезать: человек дергал и рвал карман, дергал и рвал его, а наган не поддавался. Может быть, Федя должен был выстрелить, поскольку команда его не была исполнена, но стрелять в безоружного он не мог, да и не было в том нужды: преимущество было на его стороне — он первым навел оружие и у него еще было время предупредить любое движение того, кто был перед ним.

Наган, наконец, был извлечен из кармана — человек держал его дулом к себе. Не успел Федя опомниться, как неизвестный выстрелил себе прямо в грудь и упал на спину.

Когда его тело было доставлено в ГПУ, фельдшер Черединок свидетельствовал, что это — Платон Чернущенко, Черный Ворон, как его звали в банде.

Так в начале марта двадцать третьего года в солнечный, ясный день на шумном базаре у станции Луговая собственноручно привел в исполнение смертный приговор над собой последний и самый отчаянный бандит Нижнеярья.

На этом, пожалуй, можно и кончить первую страницу жизни Феде Панько.



Для среднего и старшего
школьного возраста

Дроздов Виктор Александрович
Капусто Юдифь Борисовна

ВОЙНА НА ХУТОРАХ, ИЛИ ЮНОСТЬ ФЕДИ ПАНЬКО

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ: М., „ДЕТ. ЛИТ.“, 1965

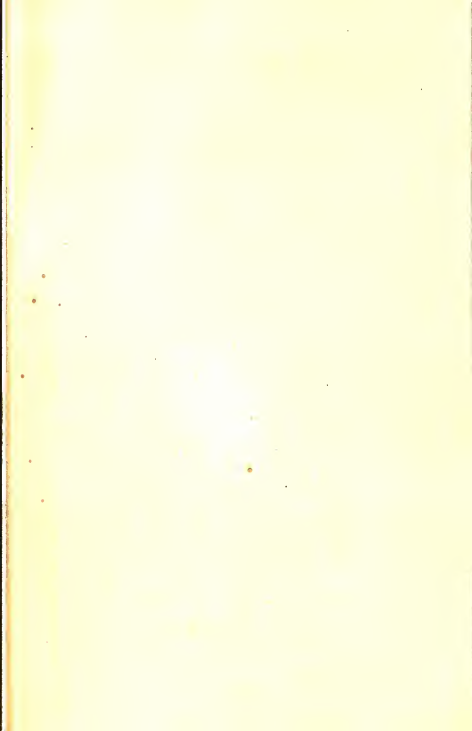
Оформление Л. ПАВЛОВОЙ
Рисунки В. ВЫСОЦКОГО

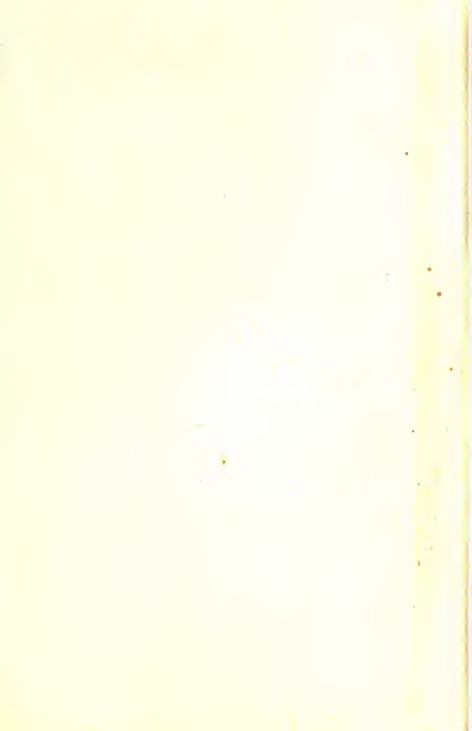
Редактор В. И. Алексеева
Художественный редактор Р. С. Киселева
Технический редактор Л. В. Шевченко
Корректор В. И. Чернецова

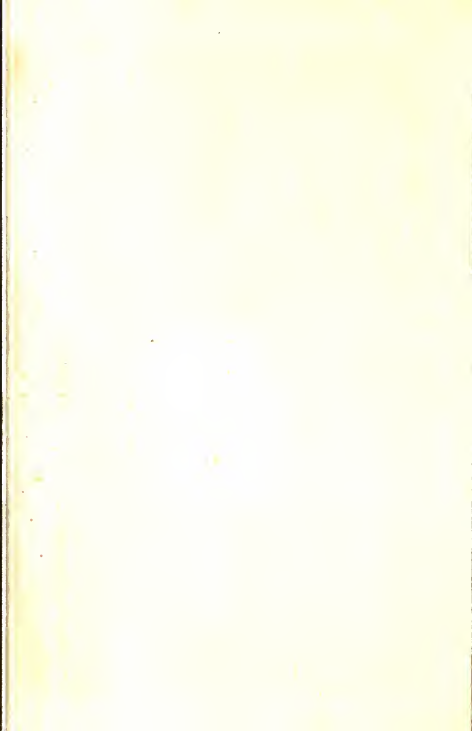
Сдано в набор 1/VI 1967 г. Подписано к печати
21/VIII 1967 г. Бумага 84×108¹/₃₂ № 2, 6,25 печ. л.,
10,5 усл. печ. л., 10,73 уч.-изд. л. Заказ 728. Тираж
150 000. Изд № 97. Цена 42 коп.

Карельское книжное издательство
Петрозаводск, пл. им. В. И. Ленина, 1

Сортавальская книжная типография
Управления по печати при Совете Министров
Карельской АССР
Сортавала, Карельская, 42







Цена 42 коп.